

АНДРЕЙ ВОРОНЦОВ

## ПОБЕДИТЕЛЬ, НЕ ПОЛУЧИВШИЙ НИЧЕГО

*Хемингуэй и смерть*

### Глава 1. “Всю ночь читал Хемингуэя...”

Вечером 4 октября 1993 года, когда ОМОН, стуча дубинками по щитам, вытеснил людей с площадки перед Домом Советов, мы с поэтом Виктором Мамоновым шли на ватных ногах по усыпанному стреляными гильзами Новому Арбату. По пути нас всё время обыскивали и проверяли документы, поэтому я держал наготове редакционное удостоверение. Один небритый солдат, только покосившись на него, развернул ладонью вверх мою правую руку и некоторое время изучал её. Что ему было в этой ладони? Спрашивать тогда было недосуг, и только пройдя с квартал, я понял: он искал следы автоматного затвора или оружейной смазки.

И тут я вспомнил Хемингуэя: “... пусть не говорят о революции те, кто пишет это слово, но сам никогда... не стоял на крыше, пытаясь отмыть собственной мочой чёрное пятно между большим и указательным пальцами – след автомата, когда сам он закинут в колодец, а по лестнице поднимаются солдаты”. Вот она – хемингуэевская деталь! Как будто, по его же сравнению, вдруг настезь распахнули летку домны.

Плохие детали не вспоминаются в обстановке, когда вообще не до литературы. Плохие писатели – тоже.

Хемингуэй в России – писатель почти народный. Я не читал русских эпиграмм, скажем, о Кафке, Джойсе или Фолкнере. А о Хемингуэе – пожалуйста:

*Погасли звёзды. Пламеня,  
Взошла за окнами заря.  
Всю ночь читал Хемингуэя...  
Не понял ни Хемингуэя!*

Всё так и было, как в этом озорном стишке: хоть и не понимали часто “ни Хемингуэя”, а читали всю ночь напролёт. Да что там читали? Целое поколение бородатых людей в грубошёрстных свитерах народилось. Их и посегодня можно ещё встретить. И читают Хемингуэя в России по сей день, хотя и без прежнего фанатизма. И ни один молодой писатель мимо него не пройдёт, независимо от того, любит или нет.

И я, помнится, повторял: “Величавость движения айсберга в том, что он только на одну восьмую возвышается над поверхностью воды”. Другое дело, что я, как и многие другие прозаики Литинститута, понимал эту фразу неправильно. Я понимал её так, что необязательно описывать вещи, которые описывать скучно или трудно, можно лишь подразумевать или обозначать их в общих чертах, а читатель сам додумает всё остальное. Короче, это был расчёт на трудолюбивого читателя. Между тем, мы невнимательно читали следующую за “айсбергом” фразу Хемингуэя: “Писатель, который многое опускает по незнанию, просто оставляет пустые места”. Нам неизвестна предыстория гангстеров из рассказа Хемингуэя “Убийцы” (кроме того, что один из них, по утверждению другого, обучался в хедере – иудаистской начальной школе), и мы не знаем, за что они хотят убить боксёра Оле Андерсона, но Хемингуэй-то *знал* и даже написал; просто “величавого движения” ради решил вычеркнуть. “Если писатель хорошо знает то, о чём пишет, он может опустить многое из того, что знает, и если он пишет правдиво, читатель почувствует всё опущенное так же сильно, как если бы писатель сказал об этом”. Вот что это за “айсберг” на самом деле! Опустить-то ты можешь, но должен хорошо знать опущенные 9/2!

Пусть Хемингуэй писал попроще, чем Пруст, Джойс или Фолкнер, однако это именно он, а не они, высоколобые интеллектуалы, разработал в книгах “Смерть после полудня”, “Зелёные холмы Африки” и “Праздник, который всегда с тобой” наиболее внятную и гармоничную теорию прозы из всех теорий этого рода. Именно Хемингуэй, а не Владимир Богомолов, как полагают многие, ввёл в литературный и философский оборот понятие “момент истины”: “В прежние времена... целью боя был заключительный удар шпагой, смертельная схватка человека с быком, “момент истины”, как его называют испанцы. И весь ход боя служит лишь подготовкой к этому моменту” (“Смерть после полудня”).

Прекрасный совет Хемингуэй дал начинающим писателям. “. . . Я решил, что напишу по рассказу обо всём, что знаю. Я старался придерживаться этого всегда, когда писал, и это очень дисциплинировало”. Не менее ценно то, что Хемингуэй говорил о принципах работы над текстом: “Я всегда работал до тех пор, пока мне не удавалось чего-то добиться, и всегда прекращал работу, когда знал, что должно произойти дальше. После этого я уже был уверен, что буду писать и завтра. . . Я, кроме того, научился ещё одному: не думать, о чём пишу, с той минуты, как прекращал работу, и до той минуты, пока на следующий день не начинал писать снова. Таким образом, моё подсознание продолжало работать над рассказом, но при этом я мог слушать других, всё примечать, узнавать что-то новое, а чтобы отогнать мысли о работе – читать” (“Праздник, который всегда с тобой”).

Я не знаю, читал ли Хемингуэй Аристотеля, но его определение художественного вымысла полностью соответствует тому, что древнегреческий теоретик литературы написал в знаменитой “Поэтике”: “Задача поэта говорить не о действительно случившемся, но о том, что могло бы случиться, следовательно, о возможном по вероятности или по необходимости”. Причём у него высказано более доходчиво: “Вымысел рождается из того, что вы знаете. Если на основании реальных событий вы действительно сочинили хорошую историю, то придуманное вами несёт больше правды, чем абсолютное честное воспоминание о пережитом”. Хемингуэй являет собой редчайший пример писателя, который создавал теорию прозы и писал прозу одновременно.

По-прежнему притягательны и загадочны не только книги Хемингуэя, но и его жизнь. Начать с того, что само имя писателя теперь напрямую ассоциируется с так называемым “американским образом жизни”, хотя на самом деле нет после Эдгара По более антиамериканского писателя, чем Хемингуэй. ФБР, кстати, полностью разделяло эту точку зрения. Единственный известный писатель в США, за которым осуществлялась тотальная слежка и “прослушка” по завершении эпохи маккартизма, уже при либеральном президенте Кеннеди, – это Хемингуэй. Формы его досуга и отдыха действительно по сию пору популярны в Америке, но так было бы и без него, ведь Америка – спортивная, туристическая страна и была таковой и до Хемингуэя. А вот что касается его образа жизни. . .

Принято считать, основываясь на ранних рассказах Хемингуэя и невразумительных свидетельствах советских биографов, что он происходил из семьи

провинциального врача-неудачника, по-видимому, небогатого, которого поедом ела жена. Насчёт жены, положим, это чистая правда, но вот бизнесменом Хемингуэй-старший был преуспевающим. Достаточно поглядеть на фотографии домов Хемингуэев в Хортон-Крике и Оук-Парке, и станет ясно, что они обладали достатком, превышающим даже современный средний уровень жизни в США.

По американским понятиям, подросток, то и дело убегающий из такого дома, из такой семьи, а потом и вовсе выгнанный из дома, чего он до конца жизни не мог простить родителям, особенно матери, — “крейзи”, придурак. Если ты вышел из самых низов, как Джек Лондон, то, пожалуйста, мотайся по стране, путешествуй зайцем на поездах, ищи своё счастье, на которое ты *имеешь право*, согласно американской конституции, а если ты по своему хотению катишься на дно... Тогда, по протестантским представлениям (а мать Эрнеста была истовой протестанткой), ты обречён, ты зачумлённый, и тебя всячески надо сторониться, ибо ты, скорее всего, проклят Богом.

Не пижонства ради Хемингуэй пробовал себя как писателя в Париже — куда ему, кроме газет, было в Штатах податься? В кооперативный журнал “Кооператив коммонуэллс”? Лучше, чем Есенин, про культурную жизнь США не скажешь: “Америка — это тот смрад, где пропадает не только искусство, но и вообще все лучшие порывы человечества”. Вот и потянулись молодые американские писатели в Париж, подобно тому, как русские тянутся в Москву, в Литинститут.

Жизнь Хемингуэя, начиная с юношеских лет, отмечена яркими трагическими знаками последующей его судьбы. Так у Шолохова в начале “Тихого Дона” Григорий Мелехов косил траву и нечаянно полоснул косой утёнка. “Изжелта-коричневый, на днях только вылупившийся из яйца, он ещё таил в пушке живое тепло”. Григорий держит утёнка на ладони, смотрит на него с “внезапным чувством острой жалости”. Он не знает ещё, что глядит на свою собственную судьбу, что Дон, Россия станут таким же скошенным лугом, а он — утёнком под безжалостной косой.

## Глава 2. Жизнь после смерти

Если писателя формируют выпавшие на его долю испытания, то у Хемингуэя, кажется, к 23 годам их не так много. Да, он был тяжело ранен в 1918 году на итальянско-австрийском фронте, где находился в качестве волонтера американского Красного Креста. Но, в отличие от многих своих европейских сверстников, Эрнест пробыл на войне всего три недели, появляясь на передовой, где случилось с ним несчастье, лишь эпизодически. Большое потрясение он перенёс в 1922 году, побывав на греко-турецкой войне и увидев геноцид малоазийских греков. Что ещё? Семейная драма отца и матери? Измена красавицы Агнессы фон Куровски, в которую он без памяти влюбился в миланском госпитале? Всё это — незабываемые впечатления, конечно, но трудно вообразить, чтобы они сыграли такую же роль в судьбе писателя, как, скажем, Семёновский плац в судьбе Достоевского.

Тем не менее, именно ночью 8 июля 1918 года, во время взрыва мощной мины из крупновского миномёта произошло нечто, многое объясняющее в потаённой философии и двоящемся облике Хемингуэя — рефлексии интеллектуала и не склонного к рефлексии “писателя действия”. Эта двойственность, кстати, замечательно видна на фотографиях: в очках, которые Эрнест надевал чаще, чем принято считать, он похож на провинциального профессора филологии, а без очков — на мексиканского боксёра.

Деятнадцать лет от роду Хемингуэй побывал несколько мгновений на том свете, или, говоря научным языком, перенёс клиническую смерть. Тогда, июльской ночью 1918 года подвыпивший Эрнест взял у итальянского солдата винтовку и разрядил её в сторону австрийских позиций. Австрийцы спросонья открыли в ответ шквальный огонь. Во время одной из вспышек Хемингуэй увидел, как упал с дерева итальянский снайпер, оборудовавший себе позицию на ничейной земле. Его ранили только из-за шалости пьяного американца. Эрнест, чтобы хоть как-то загладить вину, выбрался из окопа и пополз в сторону снайпера. Добравшись до него целым и невредимым, он взвалил солдата на спину и пополз обратно. Именно в это время они были обстреля-

ны из миномёта и крупнокалиберного пулемёта. Ноги Эрнеста от бедер до пят оказались буквально нашпигованы свинцом. Но не осколки и пули стали причиной потрясения, пережитого Хемингуэем. Впоследствии он не раз, неизменно уточняя детали, описывал своё состояние в момент взрыва и после:

“...Моя душа вырвалась и улетела от меня, а потом вернулась назад” (“На сон грядущим”).

“Я умер, я почувствовал, как моя душа или что-то в этом роде вылетела из моего тела, как это бывает, когда вытаскивают из кармана шёлковый платочек. Она полетела и вернулась на место, и я уже был жив” (из беседы).

“Я попытался вздохнуть, но дыхания не было, и я почувствовал, что весь вырвался из самого себя и лечу, и лечу, и лечу, подхваченный вихрем. Я вылетел быстро, весь как есть, и я знал, что я мёртв и что напрасно думают, будто умираешь, и всё. Потом я поплыл по воздуху, но вместо того, чтобы двигаться вперёд, скользя назад. Я вздохнул и понял, что вернулся в себя” (“Прощай, оружие!”).

Вот и разгадка того, почему писатель, ещё, по сути, и не живший, испытывал потребность описывать, как с ним *что-то уже было*. Это взгляд человека, пусть на миг, но побывавшего там... Придя оттуда, даже банальной рыбной ловле придаёшь иное значение, нежели находясь до самой смерти *по эту сторону*. Человеку, не стоявшему на грани двух миров, свойственно смотреть вперёд и даже представлять образы будущего. Тот же, кому довелось заглянуть в бездну, видит жизнь как то, что случилось *до и после*. Отсюда, думаю, и острота писательского зрения Хемингуэя, и сверхъестественная чёткость деталей, и неразмытость пейзажных картин.

И ещё: необъяснимое, но постоянно ощущаемое присутствие Бога в прозе человека не очень религиозного. “...Я знал, что я мёртв и что напрасно думают, будто умираешь, и всё”. Едва ли мать, протестантская начётчица, привила Эрнесту любовь к молитве, скорее наоборот, но, лежа под обстрелом на ничейной земле у реки Пьяве, он, подобно набожным итальянским солдатам, горячо молился: “Господи, — сказал я, — вызволи меня отсюда!”

И тогда случилось чудо. Ползущий в цепком круге мощного австрийского прожектора, нещадно поливаемый свинцом из крупнокалиберного пулемёта, Эрнест остался жив. Снайпер же, которого он дотащил-таки до итальянских окопов, был мёртв. Он умер из-за пьяной проделки Хемингуэя, и он же отчасти спас ему жизнь, прикрывая сверху от пуль и осколков. Ценой его смерти стала жизнь Хемингуэя. Он *занял свою жизнь* у этого безвестного итальянского солдата.

Происшествие на реке Пьяве не произвело в Эрнесте решительного поворота к Богу. Точнее всего его тогдашнее состояние между верой и неверием отражено в 7-й главе книги рассказов “В наше время” (1925): “Когда артиллерийский огонь разносил окопы у Фоссальты, он лежал плашмя и, обливаясь потом, молился: “Иисусе, выведи меня отсюда, прошу Тебя, Иисусе. Спаси, спаси, спаси меня. Сделай, чтобы меня не убили, и я буду жить, как Ты велишь. Я верю в Тебя, я всем буду говорить, что только в Тебя одного нужно верить. Спаси, спаси меня, Иисусе”. Огонь передвинулся дальше по линии... На следующий день, вернувшись в Местре, он не сказал ни слова об Иисусе той девушке, с которой ушёл наверх в “Вилла-Роса”. И никому никогда не говорил”.

Но забыть 8 июля Эрнесту было не суждено. Ещё в госпитале его стали посещать ночные кошмары. Они продолжались и после того, как он вернулся в Штаты, и когда он вновь отбыл в Европу. Кошмары были прямо связаны с пережитым им мгновением клинической смерти: “Спать я не хотел, потому что уже давно жил с мыслью, что, если мне закрыть в темноте глаза и забыться, то моя душа вырвется из тела” (“На сон грядущим”). Долгое время этот писатель, ставший на Западе символом мужественности, не мог спать при выключенном электрическом свете. Другим средством борьбы — до конца жизни — была ежевечерняя крепкая выпивка. А как последнее, испытанное веками средство оставалась молитва, хотя он “никому никогда не говорил” об этом. К Хемингуэю можно отнести реплику героя романа “Прощай, оружие!": “Я никогда не критикую святых после захода солнца”. Работая над романом “Прощай, оружие!”, Хемингуэй был уже католиком (после женитьбы на католичке Полине Пфейфер) и порой поступал со своими героями, как писатель-католик: например, либерал Ринальди, которому так нравились масоны, в конце концов, заболевает сифилисом.

Вообще, чудесное избавление от смерти возле Фоссальты Хемингуэй каким-то образом связывал с исповедавшимся в Италии католицизмом. Герои романа “Фиеста”, написанного Хемингуэем за два года до его перехода в новую церковь, Джейк Барнс и Брет Эшли, — католики и посещают костёл даже во время разгульной памплонской фиесты.

Несчастье, едва не лишившее Хемингуэя жизни и чуть не сделавшее его калекой, послужило, однако, толчком для рождения крупного писателя — писателя “дневного”, аполлонического, исполненного мужественного лиризма и умеющего любить жизнь в каждом её проявлении.

### Глава 3. Хемингуэй и евреи

Среди некоторых русских писателей распространено мнение, что моду на Хемингуэя принесли в нашу страну “шестидесятники”—евреи с целью навязать молодёжи идеалы американского образа жизни. Ну, об “американском образе жизни” мы уже говорили. С модой тоже не так всё ясно.

Хемингуэя начали печатать в СССР вовсе не в конце 50-х — начале 60-х годов прошлого века, как многие полагают, а за четверть века до этого — в середине 30-х годов, при Сталине. Но никто его тогда особенно не пропагандировал, кроме известного переводчика Ивана Кашкина, русского по национальности. Может быть, произведения Хемингуэя не произвели того впечатления в 30-х годах, что в 60-х? Ведь люди, условно называемые “шестидесятниками” (а их предтечи существовали и в 30-е годы), обыкновенно слетаются, как насекомые на сладкое, именно на запах успеха. Нет, успех Хемингуэя у советской читающей публики был в ту пору примерно такой же. Об этом говорит запись в дневнике драматурга Александра Гладкова, сделанная в 30-е годы, и в юношеском дневнике Владимира Чивилихина (1945). А одну из статей 1938 года Андрей Платонов посвятил роману Хемингуэя “Прощай, оружие”. Критиковал, правда: “Идеал лейтенанта Генри — это идеал животного”, — но по статье заметно, что речь идёт о произведении известного и признанного в СССР писателя. И, наконец, какую книгу киносценарист А. Каплер давал читать в 1942 году 17-летней Светлане Аллилуевой, “подбивая” под неё клинья”, как говорят в народе? Машинописную перепечатку русского перевода неизданного тогда в СССР романа Хемингуэя “По ком звонит колокол”!

Допустим, в 1942 году Сталин обиделся не только на соблазнителя дочери, но и на орудие соблазна — Хемингуэя, — и запретил печатать в СССР и даже упоминать его произведения. Но почему “протешестидесятники” не пропагандировали в печати Хемингуэя в 30-х годах, когда его издавали? Может быть, потому, что Хемингуэй был недостаточно “левым”? Но ещё менее “левыми” были Джойс, пропагандируемый автором “Оптимистической трагедии” Вс. Вишневским, и Пруст, собрание сочинений которого с предисловием А. Луначарского печатало в середине 30-х годов Ленинградское отделение издательства “Художественная литература”. У меня есть 3-й том этого собрания с откровенно и, я бы сказал, вызывающе гомосексуальным “Германтом”. В выходных данных указано мелким шрифтом: “Леноблгорлит № 21008”, что в переводе с советского “канцелярита” на русский, употреблявшийся в XIX веке, означает: “Дозволено цензурой”. Тираж весьма приличный — и по меркам 1936 года, и по нынешним — 10300 экземпляров. Хемингуэй же не был ни гомосексуалистом, ни родственником Ротшильдов по матери, как Пруст, критически оценивал капиталистические порядки, будучи ещё журналистом, отчего же о нём не писали Луначарский и Вишневский?

Оттого, полагаю, что в 30-е годы Хемингуэю была прочно приклеена репутация... антисемита. Вот, к примеру, отрывок из письма Хемингуэя И. Кашкину от 19 августа 1935 года: “Напишет, скажем, Айсидор Шнейдер статью обо мне. Я её прочитаю, потому что я профессионал и мне не комплименты нужны, а то, что меня может чему-нибудь научить. А статья окажется пустая... Потом кто-нибудь из моих друзей (скажем, Жозефина Хербст) напишет Шнейдеру и станет выговаривать ему: “Как же вы это пишете такое, а “Прощай, оружие!” , а то, что Хем сказал в “Смерти после полудня”, и так далее. А Шнейдер напишет ей в ответ, что не читал ничего из моих вещей после “И восходит солнце”, где ему почудился антисемитизм. Тем не менее, он пишет всерьёз статью о моём творчестве. Это не прочтя трёх твоих последних

книг”. Какая знакомая картина, не правда ли? Прямо не Айсидор Шнейдер, а какой-нибудь Бенедикт Сарнов!

Давайте, однако, разберемся, имеется ли в “И восходит солнце” (“Фиесте”) пресловутый антисемитизм. Ну, есть там один отрицательный персонаж-еврей – Роберт Кон. Так что – этого уже и в 20-е годы было нельзя? Уже тогда все герои-евреи должны были быть исключительно положительными? Да нет, в ту пору до такого еще не дошло (хотя обратное уже не приветствовалось), но Роберт Кон имел конкретного прототипа, и вот этого прототипа нельзя было трогать уже в 20-е годы.

Его звали Гарольд Лёб (Loeb), и он приходился сыном знаменитому американскому банкиру Лёбу, что являлся совладельцем фирмы “Кон, Лёб и К<sup>о</sup>”, “генеральному спонсору” революций 1905-го и 1917 года в России. Если верить известной книге американца Г. Саттона “Уолл-Стрит и большевицкая революция”, даже те банки, что осуществляли перевод немецких денег Ленину в Стокгольм, были дочерними предприятиями или зависимыми партнёрами “Кона, Лёба и К<sup>о</sup>”. Именно Лёбу-старшему принадлежит знаменитая фраза, произнесённая 18 февраля 1912 года на митинге в Филадельфии: “Подлюю Россию, которая стояла на коленях перед японцами, мы заставим стать на колени перед избранным Богом народом”. Один из публицистов русской эмиграции, известный под впечатляющим именем Ушкуйник, утверждал, что глава фирмы Яков Шифф “часто хвастался после развала России, что это, главным образом, дело его рук, которое влетело ему в большую копеечку”.

Любопытный штрих: Гарольд Лёб был по матери родственником банкиров Гугенхеймов и Ротшильдов, то есть приходился родственником и упомянутому выше Марселю Прусту.

Другой не менее любопытный штрих, приведённый мной в эссе “Маяковский и его железные книги” (“Наш современник”, 2013, №№ 7–8). В то же самое время, когда создавалась “Фиеста” (1925–1926), Владимир Маяковский писал в очерке “Мое открытие Америки” о брате Гарольда Лёба: “Сынки чикагских миллионеров убивают детей (дело Лоеба и компании) из любопытства, суд находит их ненормальными, сохраняет их драгоценную жизнь, и “ненормальные” живут заведующими тюремных библиотек, восхищая сотюремников изящными философскими сочинениями”. Существенная деталь для понимания образа Роберта Кона, особенно учитывая то, что Хемингуэй не решился дать ему такого брата, как у прототипа, убивающего детей “из любопытства”!

В то время в Америке, как и у нас в 90-х годах прошлого века, безраздельно царил “семибанкирщина”, одним из главных столпов которой был “Кон, Лёб и К<sup>о</sup>”. Деньги у населения банкиры изымали точно таким же образом, как в России разные “СБС-Агро” и “Менатеп”, то есть путём создания жульнических финансовых пирамид. Имелся тогда в США и свой “МММ”, причём, возможно, не один. В 1921 году, сотрудничая в журнале “Кооператив коммонуэллс”, Хемингуэй столкнулся с деятельностью его учредителя, “Кооперативного общества Америки” под руководством некоего Гаррисона Паркера. Советский биограф Хемингуэя Б. Грибанов писал: “Когда в октябре 1922 года суд официально признал общество обанкротившимся, выяснилось, что у него долгов на 15 миллионов долларов. В “Кооперативном обществе Америки” была 81 тысяча вкладчиков, и Паркер имел возможность манипулировать суммой в 11,5 миллиона долларов для выдвижения себя на пост губернатора штата Иллинойс”. Хемингуэй ещё в начале 1921 года “собрал определённое количество разоблачительных материалов... и по наивности своей предложил их для публикации некоторым чикагским газетам. Однако из этого ничего не вышло... Паркер в то время занимал слишком видное положение, и газеты, видимо, считали, что трогать его небезопасно”.

О деятельности фирмы “Кон, Лёб и К<sup>о</sup>” Эрнест, скорее всего, впервые узнал в 1919 году в Канаде, когда работал там журналистом. Эта история, случившаяся в канун Первой мировой войны, получила достаточно широкое освещение в канадской (но не американской) прессе. Нам она известна по данным русской контрразведки (1917): “Принц Генрих Прусский, ознакомившись с морским плацдармом Тихого океана, имел совещание в Америке с Шиффом, а во Владивостоке – с Даттаном и директором фирмы “Артур Коппель” о программе захвата каменноугольных богатств обоих побережий (канадского и российского. – **А. В.**). После этого свидания Шифф и Отто Кон при содействии своего банка, известного под маркой “Кон, Лёб и К<sup>о</sup>”, попытались

арендовать единственные на тихоокеанском побережье Северной Америки каменноугольные копи на о. Ванкувер. Когда эта попытка не дала практического результата, германцы, живущие в С. А. С. Штатах, в 1914 году выработали план вооружённого нападения на Ванкувер, чему, однако, помешали канадские власти” (альманах “Шпион, 1993, № 1).

Самого же Гарольда Лёба Хемингуэй, вероятно, увидел в Париже впервые, когда переехал в Европу корреспондентом газеты “Торонто стар”. Ведь Лёб был одним из посетителей знаменитой “Ротонды”, о чём Эрнест писал в 1922 году: “... завсегдатаев “Ротонды”... , как и многих других туристов, привела сюда обменная ставка 12 франков за доллар, и, когда восстановится нормальный обмен, им всем надо будет возвращаться в Америку. Почти все они бездельники, и ту энергию, которую художник вкладывает в свой творческий труд, они тратят на разговоры о том, что они собираются делать, и на обсуждение того, что создали художники, уже получившие хоть какое-то признание”.

Ещё более выгодная ставка доллара была в поставленной на колени Версальским договором Германии. Разумеется, американские поклонники искусств из “Ротонды” вскоре устремились туда. Известный критик Малькольм Каули вспоминал: “Снова мы двинулись на север: это был октябрь 1922 года, когда инфляция в Германии достигла самых крайних пределов. Когда мы пересекли границу, доллар стоил 800 марок: в Мюнхене эта цифра возросла до тысячи, а в Ратисбоне — до тысячи двухсот; на следующее утро в Берлине за доллар можно было купить 2 тысячи марок или пальто из чистой шерсти. (Заметьте, каковы служители муз: на каждом этапе своего, в общем-то, недолгого пути они внимательнейшим образом отслеживают курс доллара и его покупательную способность! — А. В.) На вокзале нас встретили Джозефсон и Гарольд Лёб, издатель “Метль”; они вдвоём редактировали журнал, платя за издание ни мне, ни им неведомо сколько марок или долларов... На сто долларов в месяц в американской валюте Джозефсон снимал двойной номер в отеле, который обслуживали две горничные, оплачивал уроки конной езды для своей жены, обедал в самых дорогих ресторанах, давал чаевые оркестрантам, собирал картины и делал пожертвования в фонд бастующих немецких рабочих...” Очень трогательно насчёт пожертвованной рабочим, которые голодали именно по той причине, по какой жировали Джозефсон и Лёб: одни богатели от падающего по несколько раз на дню курса марки по отношению к доллару, а другие не успевали купить еды на эту стремительно обесценивающуюся марку. Всё это так хорошо знакомо нам по 1992-му и 1998 году!

Но это уже другая тема, а мы, как нетрудно заметить, снова встретились с прототипом Роберта Кона Гарольдом Лёбом. В Германии тогда подвизался другой “филантроп” из “Кона, Лёба и К<sup>0</sup>” — сам Отто Кон, матёрый шпион и гроссмейстер германского масонства в годы Первой мировой войны, вывозивший из бывшего фатерлянда ценности фургонами. Впечатления, вывозимые из Германии американскими литераторами типа Джозефсона и Лёба, тоже представляли особую форму спекуляции — художественную. Каули: “Некто в Берлине, собираясь заплатить за коробку спичек бумажкой в десять марок, взглянул на билет, а на нём было написано: “За эти десять марок я продала свою добродетель”. Человек написал об этом длинную добродетельную повесть, получил за неё десять миллионов марок и купил на них своей любовнице чулки”. А мы спрашиваем: откуда в Германии взялся фашизм?

Кстати, у журнала Лёба и Джозефсона “Метла” (“Broom”) была весьма страшенькая обложка: залитая кровью зловещая фигура то ли мясника, то ли палача в капюшоне, несущего огромный кулёк какого-то фарша.

В 1924 году, когда Хемингуэй познакомился с Лёбом в Париже лично, литературные дела последнего пошли в гору. Прежде Лёб издавался только за свой счёт, а теперь его книгу взялось выпустить американское издательство “Бонни и Ливрайт”. С журналом у Лёба обстояло дело хуже (марка и франк стабилизировались), но, скрипя, он всё же издавал его, печатая не только себя любимого, но и серьёзных молодых американских авторов. В те годы окололитературная шушера типа Лёба ещё нуждалась в каком-то количестве талантливых писателей вокруг себя, пусть даже неевреев, в отличие от аналогичной шушеры в современной России (всяких Быкова и К<sup>0</sup>), которая ни таланта, ни русского духа не выносит совершенно, как упыри и уродцы из наших сказок. Да и почему они должны их выносить: ельцинское и постельцинское государство отдало им на откуп культуру, как Алле Пугачёвой эстраду, где идёт ус-

пешная война безголосых с голосистыми на уничтожение. А как иначе, ведь они думают так: “Вы, голосистые, будете петь, а нам, безголосым, что делать?” Одно успокаивает: никто теперь знать не знает и ведать не ведаёт, кто такой, скажем, Айсидор Шнейдер. А был, судя по письму Хемингуэя, “авторитет”! Та же судьба, без всякого сомнения, ждёт и наших упырей и уродов.

Предыстория появления Гарольда Лёба в качестве прототипа героя “Фиесты” Роберта Кона позволяет несколько иначе, чем прежде, взглянуть на взаимоотношения Кона с другими героями романа. Итак, молодой американский еврей, потомок богатейших ростовщиков, вынужден постоянно добиваться от жизни взаимности. Но если сравнить отношения между ним и жизнью с браком, то это брак не по любви. Кон умеет поначалу вызывать симпатию окружающих к себе — услужливостью, показной открытостью, отсутствием гонора богача. Но ненадолго. Симпатия проходит, как только люди понимают, что это и есть цель Кона. От женщин Роберт добивается любви — причём такой, о которой он читал в юности в романах. Что бы ни случилось, Кон не хочет ставить точку, когда симпатия к нему перерастает в противоположное чувство, и, уже ненавидимый окружающими, продолжает делать вид, будто ничего не изменилось. Все его увлечения: бокс, журнал, сочинительство, женщины — есть обладание без взаимности. Ради того, чтобы *вырвать* у жизни любовь, он готов на всё: в конце романа едва не забивает насмерть матадора Ромеро. Ничего антисемитского в образе Кона нет, но это, конечно, еврейский тип — оттого и терпеть не мог Хемингуэя критик Шнейдер.

Не менее интересно, кто в “Фиесте” противостоит Кону. Американский католик Джейкоб Барнс, натура лирическая, наделённая всем, чего лишён Кон, но лишённый мужественности. Кон — пассионарный тип, а Барнс — скопец. Это не только его физический изъян, но и духовный. Алкоголик Майкл Кэмбелл, например, — полноценный мужчина, но он тоже скопец. В “Фиесте”, помимо Кона, есть, в сущности, ещё только один пассионарий — юный испанский матадор Педро Ромеро. Между ними и разыгрывается коррида, в которой Кон, понятное дело, играет роль быка. Тавромахия в этом случае Ромеро не помогает: он избит в кровь. Едва ли жестокость Кона утрирована Хемингуэем, если вспомнить, что брат Гарольда Лёба, по словам Маяковского, убивал детей “из любопытства”. Правда, побеждает всё равно Ромеро — побеждает потому, что готов умереть. Кон раз за разом посылает его в нокаут, но Ромеро каждый раз встаёт и идёт на него. Барнс и Кэмбелл получили от Кона “по соплям” — и успокоились. А Ромеро — матадор, для него даже в неудачно складывающемся бою важен последний удар, и он его наносит, пусть и без ущерба для здоровья Кона. Но женщина, послужившая причиной схватки, остаётся с Ромеро, и завтра, еле стоя на ногах, он убьёт на арене всех своих быков.

Кону же, столкнувшемуся с таким сопротивлением, ничего не остаётся, как трусливо ретироваться. Ему, “быку”, приходится довольствоваться победой над пьяненькими “волами” — Барнсом и Кэмбеллом. Испанцы используют волов (оскоплённых быков) для того, чтобы они, когда бойцовых быков выпускают из загона, собирали их в стадо. Волы могут добиться этого, лишь безропотно подставляя под рога быков свои бока. Это один из самых впечатляющих образов в романе, где метод Хемингуэя проявился во всём блеске.

По всем законам классической драмы образ “быки—волы” претерпевает по ходу действия тайную рокировку. В середине романа Кэмбелл спрашивает Кона, зачем он, как вол, крутится возле быков. Но ближе к концу становится ясно, что бык — это как раз Кон, а они с Барнсом — волы. Они могут привести быка в стойло, откуда его выпустят на арену для смертельной схватки с матадором, но это лишь в том случае, если сами не погибнут от его рогов.

В сущности, перед нами схема взаимоотношений между пассионарными и непассионарными этносами. Русских в “Фиесте” нет, но как бы они поступили, оказавшись в этой ситуации? Люди из народа, может быть, вели бы себя подобно Ромеро, а вот интеллигенты, подозреваю, — точно так же, как Барнс и Кэмбелл.

Не знаю, был ли пассионарием прототип Кона Гарольд Лёб, но вышедший в 1926 году роман “Фиеста” положил конец его мечтам о писательской славе. Ни деньги, ни связи не могли ему помочь. Удар, нанесённый Лёбу Хемингуэем, был пострашнее того, что нанёс Кону едва державшийся на ногах Педро Ромеро: он выбросил Кона из литературы. Ни в Америке, ни в Европе



читатели не могли относиться серьёзно к писателю, о котором известно, что он прототип Роберта Кона из “Фиесты”. Гениально выбранная Хемингуэем фамилия персонажа не давала Лёбу и щёлочки надежды “перевести стрелки” на какой-нибудь другой прототип. Кон мог быть только Лёбом, потому что в названии известной во всём мире фирмы – “Кон, Лёб и К<sup>о</sup>” – фамилии героя и прототипа стоят рядом. Никто уже не воспринимал Лёба в отрыве от Кона. Например, когда американский писатель Томас Вулф писал о нём, то вспомнил в первую очередь “Фиесту”: “Он... стал героем – или, точнее сказать, главным отрицательным персонажем – прогремевшего в 20-е годы романа, где описывалась жизнь разгульной молодой компании сначала в Париже, а потом в Испании”.

Таким образом, мы имеем все основания утверждать, что дочернюю “Кону, Лёбу и К<sup>о</sup>” литературную секту “Шнейдер и К<sup>о</sup>” возмутил не столько “антисемитизм”, сколько вызов, брошенный Хемингуэем всей этой бездарной корпорации, – точнее, не вызов даже, а увесистый камень, переполошивший их замшелое болото. А им-то уже казалось, что они хозяева литературной жизни. И, конечно же, они стали Хемингуэю мстить. К кампании дискредитации писателя удалось привлечь не только критиков, но и романистов, нелегко переживавших славу своего более талантливого коллеги. Олдос Хаксли написал о нём статью “Предумышленное низколобие”. В июле 1933 года появилась разностная статья друга Троцкого и Лёба Макса Истмена “Бык после полудня”. По словам Б. Грибанова, Истмен “утверждал, что Хемингуэй обладает весьма чувствительной душой, что он сам рассказывал, как был “до смерти перепуган”, попав на фронте под обстрел, и поэтому до сих пор занят тем, чтобы улучшить свой имидж, пытаясь изобразить себя “неистовым буяном, требующим побольше убийств, и в значительной мере озабочен тем, чтобы продемонстрировать свою способность воспринимать убийства в любых количествах... Это, безусловно, общеизвестно, что Хемингуэй не уверен в себе, в своей мужественности”. Эта черта, по словам Истмена, породила “литературный стиль, если можно так сказать, фальшивых волос на груди”.

Но Истмен просчитался насчёт неуверенности Хемингуэя в своих силах. Через несколько лет они случайно встретились в кабинете редактора издательства “Чарльз Скрибнерс” Максуэлла Перкинса. Хемингуэй тут же продемонстрировал Истмену волосы на своей груди, а потом расстегнул ему рубашку и показал Перкинсу, что у критика-троцкиста вовсе нет никаких волос, ни настоящих, ни фальшивых. Потом, не отпуская “попавшего под раздачу” Истмена, Хемингуэй попросил Перкинса найти книгу со статьей “Бык после полудня” и прищепил её автору нос.

После смерти Хемингуэя большинство известных американских критиков придерживалось мнения, что “Фиеста” – лучший роман писателя. Наиболее своеобразно эту точку зрения выразил писатель Вэнс Бурджейли: “Как читатель, берущий на себя смелость говорить за других читателей, я выстраиваю его произведения в том порядке, в котором предпочитаю перечитывать их. При таком эксперименте “Фиеста” оказывается лучшим романом, романом вне конкуренции: я перечитываю его один раз в четыре-пять лет. Столь же часто я перечитываю пятнадцать-двадцать рассказов, преимущественно ранних, но включая “Макомбера” и “Килиманджаро”, произведения столь же выдающихся достоинств. Где-то за ними, но недалеко, следует “Прощай, оружие!”, к которому я возвращаюсь раз в семь-восемь лет”.

Тем удивительней, что “Фиеста”, самый издаваемый до 80-х годов прошлого века роман писателя, не переиздаётся в последнее время отдельным изданием ни в США, ни у нас. Наиболее значительными произведениями Хемингуэя теперь обычно называют “Прощай, оружие!” и “По ком звонит колокол”. Даже если бы это было так, всё равно “Фиеста” бесценна для изучения жизни и творчества Хемингуэя – это единственный его роман, в котором история, случившаяся в жизни, изображена почти такой, какой она была летом 1925 года в Памплоне.

В этом легко убедиться, взглянув на памплонскую фотографию прототипов (имеется в Википедии, в статье о “Фиесте”). Она могла бы даже являться прямой иллюстрацией к роману, если бы не присутствие первой жены Хемингуэя Хэдди. Прототипы пьют пиво за круглым столиком уличного кафе. На первом плане – Хемингуэй (один из прототипов Джейка Барнса) и уже податый англичанин Пэт Гатри (Майкл Кэмбелл), одетые совершенно одинаково

во: белые брюки, твидовые пиджаки, галстуки, береты и теннисные туфли, что говорит о тогдашнем англофильстве Хемингуэя. За Эрнестом сидит кокетливо играющая глазками красавица Дафф Твисден (Брет Эшли) в шляпке, за Пэтом Гатри – лысый Дональд Стюарт (один из прототипов Билла Гортона). В центре, как уже сказано, – улыбающаяся Хэдди Хемингуэй. А вот несколько поодаль, между Дафф и Эрнестом, даже не за столиком, где ему места, очевидно, не нашлось, – какой-то плюгавый мужчина с расплюснутым носом, в галстук-бабочке и роговых очках, похожий на провинциального банковского служащего. Это и есть Гарольд Лёб (Роберт Кон) – “бык в засаде”, так сказать; и это единственный его снимок, который мне удалось обнаружить. Подозреваю, что если бы Хемингуэй не встретил Лёба на жизненном пути и не заверстал его в герои романа, мы вообще бы не знали, как этот “знаменитый литературный деятель” выглядит. Ему бы спасибо сказать Хемингуэю за то, что он его обессмертил, как Шекспир Шейлока, а он, напротив, после выхода “Фиесты” исходил злобой.

Шекспир, я полагаю, упомянут к месту: не исключено, что роман Хемингуэя постигла судьба “Венецианского купца” Шекспира и некоторых произведений Марло, и он негласно запрещён в современной Америке за “антисемитизм”.

Тем, кто скажет, что увиденный мной подтекст “Фиесты” надуман и что Лёб-сын “за грехи отца не отвечает”, да и за грехи брата-детоубийцы тоже, имею честь сообщить, что Гарольд Лёб всё же пошёл по стопам отца и стал в конце 20-х – начале 30-х годов, по свидетельству Томаса Вулфа, активным пропагандистом сионизма. А до этого он был авангардистом, потом социалистом, потом троцкистом... “Наглость и, я бы добавил, откровенное бесчестие, которое руководило такими людьми, отталкивали меня, внушая отвращение”, – признавался Вулф. Какое чутьё, однако, было у Хемингуэя, до 1936 года политики сторонившегося! Он безошибочно выбрал прототипа героя, путь которого оказался типичным для тогдашней еврейской интеллигенции США и Европы: литература – социализм – троцкизм – сионизм.

#### Глава 4. “Вся жизнь пошла к дьяволу”

Размышляя над возможными толкованиями “Фиесты”, я, вслед за В. Бурджейли, пришёл к выводу, что этот роман, созданный двадцатисемилетним автором, сильнее, глубже и психологичнее всех других его романов, которые мне нравились. “Прощай, оружие!” превосходно написан и неподдельно лиричен, “Иметь и не иметь” по-толстовски аналитичен и беспощаден, но печатью гениальности, безусловным признаком которой является вдруг возникающий у тебя восхищённый вопрос: “Как это сделано?” – отмечена лишь “Фиеста”. Есть в романе некая молодая виртуозность, весёлая литературная игра (при всей потаённой драматичности содержания), делающие приведённое мной толкование романа далеко не единственным.

После выхода “Фиесты” по Парижу, конечно, поползли слухи о мужском бессилии Хемингуэя, дошли они и до его бывшей приятельницы Дафф Твисден, ставшей прототипом Брет Эшли, на что она со свойственным ей и героине романа остроумием отреагировала: “Бессилие Хемингуэя – это его жена и ребёнок”.

Подобного смелого литературного эксперимента вы не встретите ни в одном из последующих романов Хемингуэя. Я вообще не знаю другого мужчину-писателя, который бы отважился вести повествование от первого лица, если это лицо – скопец. В известном смысле, это рискованнее для репутации, чем писать от лица извращенца, ибо скопец вызывает лишь жалость.

Итак, Хемингуэй поверг в прах Кона-Лёба. Шумный успех, выпавший ему после “Фиесты”, свидетельствовал, что он может заставить конов и лёбов считаться с собой, даже сказав им всё, что о них думает. Но это абсолютно не значило, что мир стяжательства и посредственности хотя бы на минуту прекратил борьбу с такими, как он. “Фиеста” ещё не вышла в свет, а Хемингуэй уже попал в объятия богачки Полины Пфейфер, подруги любовницы Лёба Кити Канелл (в “Фиесте” – Френсис Клайн). Сам Хемингуэй описывал это в книге, не очень удачно названной вдовой писателя Мэри “Праздник, который всегда с тобой”: “Когда два человека любят друга, когда они счастливы и ве-

селы и один или оба создают что-то по-настоящему хорошее, они притягивают людей так же неотразимо, как яркий маяк притягивает ночью перелётных птиц. Если бы эти двое были так же прочны, как маяк, то разбивались бы только птицы. Те, чьё счастье и успешная работа привлекают людей, обычно неопытны и наивны. Они не умеют противостоять напору и не умеют вовремя уйти. У них не всегда есть защита от добрых, милых, обаятельных, благородных, чутких богачей, которые так скоро завоёвывают любовь, лишены недостатков, каждый день превращают в фиесту\*, а насытившись, уходят дальше, оставляя позади пустыню, какой не оставляли копыта коней Аттилы”.

Богачи “прибегли к способу старому, как мир. Он заключается в том, что молодая незамужняя женщина временно становится лучшей подругой молодой замужней женщины, приезжает погостить к мужу и жене, а потом незаметно, невинно и неумолимо делает всё, чтобы женить мужа на себе”.

Да, в 1921 году Хемингуэй повезло: он женился на очаровательной тридцатилетней Хэдли Ричардсон, подающей надежды пианистке. Сочетание красоты, возраста и рода занятий жены вроде бы не сулили юному писателю ничего хорошего – в этом смысле показателен случай с матерью Хемингуэя, после замужества оставившей карьеру оперной певицы и до конца жизни не простившей этого его отцу. Но история не повторяется дважды. С Хэдли оказалось всё иначе. Она последовала за молодым мужем в Париж, в неизвестность, где жила вместе с ребёнком в квартире над работающей лесопилкой, питалась тем же, что и французские рабочие, и музицировала не перед рафинированными меломанами, а перед посетителями второразрядных кабачков. “Сердобольная” Полина в первый период знакомства с Хэдли очень её жалела и сокрушалась, что Эрнест так худо её содержит. Судя по всему, с этой стороны вызвать конфликт между Хэдли и мужем ей не удалось. Сложнее обстояло дело с самим Хемингуэем.

Во время своей с Хэдли жизни в Париже он вынужден был заниматься малоприятным для энергичного молодого человека занятием – экономить деньги. Он, разумеется, делал это не по скупости, а для того, чтобы поехать зимой в Австрийские Альпы, а летом – в Испанию. Однако появление всех этих богачей, Пфейферов и Мэрфи, не только бросавших деньги направо и налево, но и позволявших себе на публике *презирать* их (хотя на самом деле удавились бы за копейку!), не могло не внести трещину в сознание Эрнеста. Он был лучше, талантливее, благороднее, сильнее их, и они отлично знали это, но знали и то, что их якобы так *опостылевшие* им деньги позволяют им держаться в общественной иерархии выше таких гордецов, как Хемингуэй.

Так уж повелось в жизни, что деньгам можно противопоставить только деньги. Кто пытается соревноваться с владельцами презренного металла талантом, рано или поздно вынужден переводить его в сопоставимые величины, то есть в те же деньги. Ибо состязание таланта с миром денег всегда идёт по правилам последнего. Если мы хотим обособиться от мира, где правят деньги, нужно во всё уйти от системы его ценностей. Совсем не обязательно на этом пути вас ждут голод, холод, отсутствие уюта, болезни и даже смерть – всё то, чем пугают людей бескорыстных люди корыстные. Но одну систему ценностей покидают, лишь переходя в другую.

Система личных духовных ценностей не была Хемингуэем сформулирована так же чётко, как, скажем, теория его прозы. Экзотические в то время формы его досуга, к которым он прибегал, уходя от сволочной и бездарной жизни “гиен пера” и “шакалов ротационных машин” – ловля форели, горные лыжи и испанская коррида – легко перенимались скучающими богачами-бездельниками, никакой жизненной философии в эти развлечения не вкладывавших. Разница была и в том, что богачи без особых усилий могли позволить себе то, чего Хемингуэй добивался жесткой экономией, отказывая себе в обеде, а Хэдли – в цигейковом жилете.

Рассуждая отвлечённо, эту ситуацию можно представить так: лишённые воображения коны, лёбы, мэрфи и пфейферы топают след в след за молодым писателем-оригиналом, залезают толпой в чистейшие горные ручьи, распугивая деликатную форель; ломая лыжи, катятся кубарем по величественным склонам Форарльберга; похлопывают по плечу матадоров, позорно называя

---

\* Наглядный пример того, почему название “Праздник, который всегда с тобой”, дословно “Неуходящая фиеста” (“A maveable Feast”), неудачно.

их пикадорами; привозят на другой год новых конов и лёбов и отнимают у Хемингуэя радость первооткрывателя всей этой экзотики. Как уйти от них, превращающих всё в “мертвую пустыню”? Ехать охотиться на африканских львов, что ли? Ловить диковинных океанических рыб? Так наш оригинал, увы, и делает. Ему мало одержать верх над конами и лёбами в литературе, ему хочется соревноваться с ними и в остальном. Но на это нужно много денег. В один не очень прекрасный день некто по фамилии Пфейфер может предложить ему их, а его шустрая ласковая племянница — руку и сердце, и Хемингуэй увидит в этом выход, не задумываясь о том, что между деньгами Лёба и деньгами Пфейфера нет особой разницы. И что он с таким же успехом мог бы жениться на любовнице Лёба Кити Канелл.

В жизни, разумеется, всё обстояло не так просто, как я это изложил. Отец лжи всегда предлагает своей жертве мешок оправданий, подчас весьма тонких. Формальный протестант, Хемингуэй после 8 июля 1918 года тяготел к католичеству. Полина Пфейфер была католичкой, так что создавалась иллюзия духовной целесообразности этого брака.

Подсознательно, однако, человек, тем более такой неглупый, как Хемингуэй, всегда знает, что хорошо, а что плохо. Драма усугублялась тем, что Эрнест не переставал любить Хэдли и сына. Не мог он не понимать и того, сколь аморально бросать жену, бывшую беззаветно преданной ему в период его бедности и безвестности, именно тогда, когда к нему пришла слава. Да и вёл он себя во время разрыва не лучшим образом. Когда в конце марта 1926 года Хэдли прямо ему заявила, что ей не нравятся его отношения с Полиной, Хемингуэй, чьим писательским и человеческим идеалом всегда была откровенность, потерял лицо. Он сказал жене, что она не должна была касаться этого вопроса, ибо тем самым рвёт цепь, которая связывала их между собой. Он полагал, что вина за всё дальнейшее теперь ложится на Хэдли, так как именно она первой заговорила об этом.

Забрав сына, Хэдли уехала. Она прислала Эрнесту полное достоинства письмо, в котором говорила, что рассматривала их брак как клятву быть с ним и в радости, и в горе. Но раз он хочет развода, он должен сам заняться всеми правовыми вопросами, связанными с этим.

Хемингуэй ответил прочувствованным письмом. Он утверждал, что она всегда была храброй, самоотверженной и великодушной. Что она была самым лучшим, самым честным, самым любимым человеком, которого он встречал в своей жизни...

Увы, в письме родителям, упрекавшим его за разрыв с Хэдли, он вскоре написал нечто совершенно противоположное, обвиняя её в мелочности, корыстолюбии, эгоизме и патологической ревности. Однако в разговорах со Скоттом Фитцджеральдом и Биллом Бёрдом (одним из прототипов Джейка Барнса) Эрнест утверждал иное: “Рассказывая Скотту о разводе, он говорил, что *вся их жизнь пошла к дьяволу* (курсив мой. — А. В.), как и должно быть со всякой хорошей жизнью, объяснял, какая Хэдли замечательная женщина. Встретившись с Биллом Бёрдом, он на вопрос, почему они разводятся, ответил кратко и безапелляционно: “Потому что я сукин сын” (Б. Грибанов).

Подобные игры не могут не привести прямого и честного человека к кризису. Хемингуэй пережил в то время тяжёлую депрессию, сравнимую лишь с той, что он испытал в 1960–1961 годах. Полине, которая уехала тогда на три месяца в Штаты, он писал отчаянные письма о своём тяжёлом состоянии, признавался, что думает о самоубийстве.

Но в октябре 1926 года вышла “Фиеста”. Книга имела шумный успех, и это вывело Эрнеста из депрессии.

Наверное, именно о днях триумфа Хемингуэя написал Михаил Булгаков в 1929 году в рукописи “Тайному другу”: “... в ваши руки попадает измызганный номер французского или немецкого иллюстрированного журнала, и вы видите избранника судьбы. Он в белых брюках и синем пиджаке. Волосы его растрёпаны, потому что с моря дует ветер. Рядом с ним, в короткой юбке и шляпе, некрасивая женщина с чудесными зубами”. Есть весьма похожая фотография того времени, запечатлевшая Хемингуэя и Полину Пфейфер на паровой палубе первого класса. Полина, действительно, некрасива, в модной шляпке — и с чудесными зубами. Избранник же судьбы как-то цинично усмехается под усами правым углом рта.

## Глава 5. Победитель не получает ничего

Есть писатели, талант которых тесно связан с состоянием души. Уже в XX веке чаще встречались другие, способные работать и шлифовать мастерство независимо от нравственных установок (например, Исаак Бабель и Валентин Катаев). Хемингуэй всё же относился к первым. Даже придя в себя под влиянием успеха и женившись на Полине, он ощущает непоправимость разрыва с Хэдли. Уже в апреле 1927 года он публикует рассказ “Канарейку в подарок”, в котором звучит нота раскаяния, ставшая затем лейтмотивом “Снегов Килиманджаро”, многих страниц “Иметь и не иметь” и “Праздника, который всегда с тобой”.

Он был искренен в своих первых книгах, потому что не заключал никаких сделок с совестью. Он был писателем, в жизни которого не случилось ничего такого, о чём он не смог бы рассказать читателям. Некая смутная тень лежала на его сестрице — тот итальянский снайпер, невольным виновником гибели которого он стал на Пьяве, — но тогда была война, а на войне и похуже случается. А вот история разрыва с Хэдли, если усмотреть в ней поворот в судьбе (а так оно и оказалось), образовывала вместе и историей погубленного Эрнестом и одновременно спасшего его солдата некую не очень приятную последовательность. К нему вернулись, судя по рассказу “На сон грядущим”, ночные страхи лишиться во тьме души.

То, что критики называют автобиографическим периодом в творчестве писателя, завершилось у Хемингуэя не потому, что его биография окончательно слилась с творчеством: напротив, они разошлись — и самым болезненным образом. Он перестал быть писателем, профессионализм которого следует за непосредственностью, он превратился в чистого профессионала, мастерски изготавливающего истории.

Непосредственный писатель может создавать прекрасные произведения и вопреки собственным творческим установкам. Работая над “Фиестой”, Хемингуэй шёл наперекор продуманной и чёткой “теории прозы”, писал и ночью, и тогда, когда уставал, и когда не знал, что будет дальше. Он написал роман за шесть недель и почти год дорабатывал его.

“Прощай, оружие!” он создал согласно всем своим правилам. Глава мерно следует за главой, пейзаж сменяет пейзаж, монолог чередуется с диалогом и всякая деталь на том месте, где ей следует быть. При этом роман вовсе не схематичен, он куда лиричнее и спокойнее “Фиесты”, но как-то неощутимо слабее.

Угроза пустоты, таящаяся во внешне богатом красками и лирическими оттенками романе, оказалась не случайной. В эпиграфе к сборнику рассказов с многозначительным названием “Победитель не получает ничего” (1933) Хемингуэй написал: “В отличие от всех иных состязаний или же схваток, условия здесь таковы, что победитель не получает ничего: ни передышки, ни радости, ни какой-либо славы. А если он истинно победит, то не получит и мира в душе”.

Так и Хемингуэй: победив в чужой игре, он не получил мира в душе.

Резкие краски и контрасты начинают вытеснять прославленные хемингуэевские полутона. Теперь он пишет вполне бабелевский рассказ “Альпийская идиллия”, один из героев которого, крестьянин, относит тело умершей жены в дровяной сарай, пристраивает в углу стоймя... и так оставляет на зиму. Когда же находчивому герою нужно набрать в темноте дров, он вешает фонарь на отвисшую нижнюю челюсть покойной супруги.

В пору первого успеха Хемингуэя считалось, что, хотя в его произведениях не находят себе места интеллектуальные идеи, философия писателя воплощается в созданных им образах. Теперь же Эрнест, ощутив внутри себя пустоту, с вызовом стал говорить, что ничего, кроме пустоты, и быть не может. Он кощунствует, заставляя героя рассказа “Там, где чисто, светло” (1933) в извращённом виде читать молитву “Отче наш” (“Патер ностер”): “Отче ничто, да святится ничто твоё, да придёт ничто твоё, да будет ничто твоё, яко в ничто и в ничто”. Потешил бесов, нечего сказать!

Если развод с Хэдли закончил парижский период жизни Хемингуэя, то выход “Фиесты” совпал с концом той культурной ситуации в Европе и Америке, что продолжалась с 1918-го по 1926 год. При всём увлечении тогдашних гуманистических политикой и экономикой, они занимали в их сознании в лучшем

случае второе или третье место. Первое всё же принадлежало культуре. Так было, кстати, и в Советской России до 1928 года: только рапповцы да лефовцы талдычили про темпы и промфинплан. Но вот отбушевала литературная фиеста, и наступили — и на Западе, и в СССР — политические будни.

На западных единомышленников таких литераторов, как Троцкий, Бухарин, Луначарский, Радек, не могла не производить впечатления их головокружительная политическая карьера. Не являлся исключением и Гарольд Лёб, которому, как известно по “Фиесте”, было всё равно, каким образом утверждаться. Из сиониста он вдруг превратился, по словам Томаса Вулфа, в “знатока экономических законов”: “Его явно потянули за собой фантазии одного странного человека, который называл себя инженером и доказывал, что единственная надежда для человечества — это довериться технократам, чтобы они переустроили мир согласно рекомендациям, выработанным для индустрии. Выходило, что этим способом можно привести в действие все богатства, которые таит в себе природа, а также замыслы и открытия учёных, и тогда, учитывая, какая сильная у нас промышленность, несложно обеспечить каждому царскую жизнь — все будут зарабатывать не меньше пятнадцати тысяч в год. И тот перевёртыш (Гарольд Лёб. — **А. В.**) не только всё это заглотал, не раздумывая, он пошёл дальше: ровно через месяц у него была готова книга, где излагалась целая экономическая система на новый лад и говорилось, что техника обеспечит каждому доход в двадцать тысяч. Ну что же, теперь он с энтузиазмом двинулся по новонайденному пути, только, на мой взгляд, это всё та же самая избитая дорога; он с неё и не сходил”.

Книга Лёба, о которой упоминает Вулф, называлась “Жизнь в технократическом обществе” (1933). “Странного человека”, у которого Лёб слямзил “новые взгляды”, звали Говард Скотт; “фантазии” его разделял не только Лёб, но и, к примеру, Теодор Драйзер. Вулф не знал, что эти фантазии станут основой нынешней “стабильности” в западном технократическом обществе. Правда, “телеги, подвозящие хлеб всему человечеству” (Достоевский), двинулись отнюдь не ко “всему”, а преимущественно в Северную Америку и Западную Европу: во всех других местах их только нагружают — и там, конечно, полно нищих и голодных. Но никто не собирается распространять и на них “фантазии” Скотта и Лёба, напротив, если они или их вожди начинают слишком громко требовать этого, им подвозят американские авианосцы, ракеты и морскую пехоту в любом количестве. Так было в Гренаде, Панаме, Сомали, Гаити, Югославии, Ираке, Ливии... Этим же грозят Сирии и Ирану — да любой стране, в которой вдруг начинают плохо нагружать “телеги”. “Не верю я, гнусный Лебедев, телегам, подвозящим хлеб человечеству!” — как говорил один из героев “Идиота”.

Хемингуэй выбросил прототипа Роберта Кона из литературы, но вот в других областях хемингуэев не оказалось. И Коны-Лёбы процветали на ниве общественной, экономической и политической деятельности.

Но они, однако, не затем ушли из литературы, чтобы вычеркнуть её из своих планов. Лёб, обратившись в “веру” Скотта, не случайно говорил Томасу Вулфу: “...неужели вы считаете, что можно писать, ни черта не смысла в экономике?” Идеологи “технократического общества” нуждались в “инженерах человеческих душ”, то бишь в писателях. Прежде Лёб и прочие рекрутировали их в авангардизм, троцкизм, сионизм, теперь вот — в ряды технократов.

Они обрабатывали американских писателей не так жёстко, как это делали в Советском Союзе, но не менее настойчиво. Хемингуэй не стал исключением.

Он забросил политику примерно тогда же, когда забросил журналистику. Отношение к политике Эрнест сформулировал для себя ещё в 1922 году, когда стал свидетелем трагедии греческих беженцев в Восточной Фракии: “Помню, как я вернулся с Ближнего Востока с разбитым сердцем от того, что я увидел. И тогда в Париже я пытался выбрать, чему посвятить свою жизнь: бороться за справедливость или стать писателем. И вот, с холодностью змия, я решил для себя, что стану писателем, чтобы писать настолько правдиво, насколько это в моих силах”.

Знакомство Хемингуэя с выходцем из Южной Африки Уильямом Болито Райаллом, корреспондентом манчестерской “Гардиан” и бывшим английским разведчиком, укрепило его в стремлении выбросить политику из своей жизни и творчества. От Райалла Эрнест узнал, что продажность — это свойство не только провинциальных американских и канадских изданий, но и самых “не-

зависимых” и могущественных китов мировой прессы. Райалл рассказал Хемингуэю немало интересного о том, как и кем подкупаются газеты: он сам занимался подкупом французской прессы во время Первой мировой войны. Не менее хорошо Райаллу было известно, как покупаются политики.

Читая Хемингуэя-журналиста, отлично понимаешь, что зёрна жестокости и насилия, пышным цветом взошедшие в Европе при Ленине, Муссолини, Гитлере, Франко, были брошены в землю ещё в 1914–1918 годах. В 1918-м, побывав на итальянско-австрийском фронте, Хемингуэй узнал, что в итальянской армии возродили древнеримскую децимацию, когда за отказ идти в наступление расстреливали каждого десятого солдата (этот тип экзекуции очень полюбился Троцкому), а родителей и родственников несчастных лишали гражданских прав (форма использования заложников, также перенятая большевиками).

Увы, самому Хемингуэю приходилось точно так же врать в газетах, как это делали его коллеги. Даже если он этого не хотел, от его имени вралли другие. Как мы помним, он “вернулся с Ближнего Востока с разбитым сердцем от того, что увидел”. Судя по книге “В наше время”, Хемингуэй хорошо знал, что в трагедии малоазийских греков и сожжении древнего православного города Смирна виноваты турецкие войска. Но в своё агентство он в 1922 году послал другую информацию. 12 лет спустя Хемингуэй вспоминал на страницах журнала “Эсквайр”: “. . . у вашего корреспондента вся продукция за этот день сводилась к следующему: “Кемаль утверждает, что не жёг Смирны, – виноваты греки”, – скромной, по три доллара за слово телеграмме в адрес “Монумен-тал Ньюс-Сервис”, а появлялось это в таком виде: “В сегодняшнем конфиденциальном интервью, данном корреспонденту “Монумен-тал Ньюс-Сервис”, Мустафа Кемаль категорически отрицал какую-либо причастность турецких войск к сожжению Смирны. Город, по заявлению Кемала, был подожжён греческим арьергардом ещё до того, как первые турецкие отряды вступили в предместье”. Точно так ныне работают все ведущие западные СМИ: мы это видели на войне в Южной Осетии и видим в Сирии, на Украине. Хемингуэй, конечно, не виноват в той интерпретации, которую дало его телеграмме агентство “Монумен-тал Ньюс-Сервис”, но всё равно он посылал заведомо одностороннюю информацию, зная, что работодатель поддерживает кемалистов. Иначе почему бы ему не заплатить еще 9 долларов и не приписать: “греки опровергают это”? Наученный историей с разоблачительными материалами об американском “МММ”, Эрнест уже не посылал в агентства и газеты то, что заведомо не станут печатать.

Если бы Хемингуэй последовал примеру многих молодых писателей, увлекшихся в ту пору политикой, то политический роман, вышедший из-под его пера, имел бы, конечно, не меньший успех, нежели его статьи в “Торонто стар”. Но он выбрал иной путь – “чистого искусства” – и, в общем, до 1936 года с него не сходил. На примере первой превосходной книги рассказов “В наше время” видно, что Эрнест, работая над главами-“интерлюдиями”, аналогичными по сюжетам и географии его газетным корреспонденциям, отсекает анализ и объективные выводы из происходящего. В статьях же всё это было, они порой с лаконичного анализа и начинались. Но, как известно, “величавость движения айсберга в том, что он только на одну восьмую возвышается над поверхностью воды”. В политической прозе, имеющей дело со злобой дня, этой величавости нет. Ну, а что правды нет, и так ясно.

Поскольку “правые” в Америке в конце 20-х годов, с наступлением “великой депрессии”, пребывали в коллапсе, политическим балом заправляли тогда “левые”. До поры до времени Хемингуэй ускользал от их настойчивых “приглашений на танец”. Так, в 1930 году он отказался принять участие в общественном движении американских писателей, возникшем на почве экономического кризиса, нищеты и безработицы в США. Хемингуэй мог себе это позволить, невзирая на заклинания “левых”: прохладные отзывы на последние его книги не уменьшили ни их тираж, ни популярность писателя. Тогда “прогрессисты” решили прибегнуть к дискредитации Хемингуэя как художника. Именно в это время написаны упомянутые статьи О. Хаксли “Предумышленное низкокобие” и “Бык после полудня” М. Истмена. История с Истменом, кстати, показывает, что Хемингуэй был далеко не равнодушен к высказываниям в свой адрес, даже если они принадлежат заведомо враждебному автору.

А в 1932 году, будучи на Кубе, он получил из Нью-Йорка корректуру “Смерти после полудня”. Вверху каждого листа был отпечатан колонтитул “Смерть Хемингуэя”. Осталось невыясненным, умысел это или просто неудачное рабочее сокращение, но болюющий воспалением лёгких Хемингуэй пришёл в бешенство и отправил редактору Перкинсу резкую телеграмму.

А между тем агитация Лёба и компании и политико-экономический крах 1929–1933 годов дали свои плоды. Забавно, что тотальный творческий дрейф “влево” американских писателей происходил практически одновременно с созданием Союза советских писателей. Это совершенно неисследованная страница американской культуры. Кто сегодня знает, и прежде всего в США, что не быть в 30-х годах “левым” означало для писателей иметь большие материальные затруднения? Администрация Рузвельта, прибегавшая к непопулярному среди “правых” промышленников экономическому опыту СССР для преодоления кризиса 1929–1933 годов, неофициально поощряла “красную агитацию”. Третья жена Хемингуэя, журналистка Марта Гельхорн, писала в то время резко антикапиталистические статьи о безработице, будучи сотрудницей уполномоченного президента США по проблеме безработицы Гарри Гопкинса. Именно тогда возросла многочисленная “левая” творческая интеллигенция, которую потом старательно выкорчёвывали при Трумэне, в эпоху маккартизма.

Издатели быстро поняли, откуда дует ветер. Хемингуэй стал получать от них письма с призывом определиться в политических симпатиях. Одному из таких пропагандистов, книготорговцу из Милуоки Полю Ромену, он ответил в 1932 году: “Вы надеетесь, что поворот “влево” и т. п. будет иметь для меня некое значение – пустое дело. Я не следую моде в политике, в переписке, в религии и т. д. В литературе нет “левых” и “правых”. Есть только плохая и хорошая литература...”

К 1935 году Хемингуэй находился в полной литературной изоляции. Два крупных критика, до последнего времени благосклонные к нему, – Эдмунд Уилсон и Малькольм Каули – тоже перешли в стан “левых” (причём Уилсон с уклоном в троцкизм). В письме к своему советскому переводчику И. А. Кашкину от 19 августа 1935 года Хемингуэй так характеризует сложившуюся вокруг него ситуацию: “Здесь у нас критика смехотворна. Буржуазные критики ни черта не понимают, а новообращённые коммунисты ведут себя так, как и по-добает новообращённым: они так стараются быть правовеерными, что их заботит только то, чтобы не было ереси в их критических оценках. Всё это не имеет никакого отношения к литературе...”

...Теперь все стараются запугать тебя, заявляя устно или в печати, что если ты не станешь коммунистом, то у тебя не будет друзей, и ты окажешься в одиночестве. Очевидно, полагают, что быть одному – это нечто ужасное; или что не иметь друзей – страшно. Я предпочитаю иметь одного честного врага, чем множество таких друзей, которых я знал. Я не могу быть сейчас коммунистом, потому что я верю в одно: в свободу. Прежде всего, я думаю о себе и о своей работе. Потом я позабочусь о своей семье. Потом помогу соседу. Но мне нет дела до государства...”

Хемингуэй, в общем, правильно понимал, что между американскими буржуазными критиками и новообращёнными коммунистами-литераторами нет принципиальной разницы: и те, и другие были порождением одной среды и легко меняли политические взгляды в зависимости от политической конъюнктуры. В конце 40-х – начале 50-х годов, в эпоху маккартизма, все эти “новообращённые коммунисты” быстро переметнулись в противоположный лагерь – и найти в ту пору левого критика было столь же трудно, как в 30-е годы независимого. Именно *независимого*, потому что Хемингуэй, заметьте, не жалуется на отсутствие “правой” (буржуазной) критики при засилье “левой” – он сетует на отсутствие критики *независимой*.

Из опущенных мною строк большого письма Хемингуэя к Кашкину ясно, насколько серьёзно относился писатель к публикации своих произведений на языке Л. Толстого, Тургенева, Достоевского, Чехова, которых исключительно высоко ценил. Он даже о гонораре пишет как-то мимоходом и полушутя, видимо, не очень на него рассчитывая, что в те годы было для него, одного из самых высокооплачиваемых писателей в мире, нехарактерно.

Из письма также видно, что если не в житейском смысле, то в литературном изоляция оказалась для Хемингуэя полезной. Он пишет энергично, зло, исчезли вялость, пресыщенность, опустошённость... Он не только укрепляет-



ся в мысли, что одиночество — условие честной писательской работы, но и меняет отношение к целям творчества. “Ничто и только ничто” его уже больше не привлекает. Мы не знаем, что подготовило его новый недолгий взлёт, его “толстовский период”: зашедшая в тупик комфортная жизнь с Полиной, раскаяние, угрызения совести, скука или профессиональное упорство. Конечно, немалую роль сыграла русская классика.

Он взял в ту пору на вооружение толстовский метод, суть которого в том, что автор находится не где-то рядом со своими героями, а смотрит на них сверху, знает о них несколько больше, чем принято знать человеку о человеке. Он уже пробовал писать так когда-то в главах-миниатюрах из книги “В наше время”. Теперь он решил применить этот метод в больших произведениях. Второе, что перенял Хемингуэй у Толстого, — это потребность в саморазоблачении, беспощадность к себе, чего он прежде избегал.

По сей день приходится слышать и читать, что “Снега Килиманджаро” — это рассказ о писателе, в котором Хемингуэй видел полную противоположность себе. А как же тогда мемуарный “Праздник, который всегда с тобой”? Ведь это как бы воспоминания умирающего писателя Гарри из “Килиманджаро”, только развёрнутые в книгу! Книгу, которую не написал не только Гарри, но и сам Хемингуэй 30-х годов. Впрочем, есть более существенное, я бы сказал, высшее доказательство автобиографичности “Снегов Килиманджаро”: во время второго африканского сафари 1953–1954 годов Хемингуэй, покинув предгорья Килиманджаро, оказывается после авиакатастрофы практически в такой же ситуации, как Гарри, — правда, к его счастью, обошлось без гангрены.

Если в “Недолгом счастье Фрэнсиса Макомбера” толстовский метод умело замаскирован, то в “Снегах Килиманджаро” влияние “Смерти Ивана Ильича” даже не скрывается. Мысль рассказа высказана уже в эпиграфе, в котором гора Килиманджаро названа “домом Бога”.

У писателей-классиков случаются фразы настолько значительные, что их можно считать даже не стилистическими шедеврами, а своего рода визитными карточками в вечность. У Толстого, допустим: “Он хотел сказать ещё “прости”, но сказал “пропусти”, и не в силах уже будучи поправиться, махнул рукой, зная, что поймёт тот, кому надо”. У Достоевского: “Отцы и учителя, мысля: “Что есть ад?”. Рассуждаю так: “Страдание по тому, что нельзя уже более любить”. У Платонова: “Прежде он чувствовал другую жизнь через преграду самолюбия и собственного интереса, а теперь внезапно коснулся её обнажившимся сердцем”.

В “Килиманджаро” Хемингуэй написал мучительно красивую и загадочную фразу о своей жизни и своих книгах: “...Комти повернул голову, улыбнулся, протянул руку, и там, впереди, он увидел заслоняющую всё перед глазами, заслоняющую весь мир, громадную, уходящую ввысь, невысказанно белую под солнцем квадратную вершину Килиманджаро. И тогда он понял, что это и есть то место, куда он держит путь”. Дом Бога.

Второй взлёт писателя был стремительным, но коротким. Он закончился в 1937 году рассказом “Рог быка” и романом “Иметь и не иметь” — произведением об американской жизни, которого давно от него ждали. Ничего лестного, разумеется, он об этой жизни не сказал, и книгу сочли неудачной. Так почему-то считается до сих пор, хотя ключевая фраза из “Иметь и не иметь”, которую произносит умирающий Гарри Морган, цитируется едва ли не чаще других фраз Хемингуэя: “Человек... Человек один не может. Нельзя теперь, чтобы человек один... Всё равно человек один не может ни черта”.

Тематика романа была вроде близка “левым”, но и они встретили его в штыки. Это, в общем, понятно: один из героев “Иметь и не иметь” — писатель-приспособленец Ричард Гордон (прототипом послужил Д. Дос-Пасос), совершающий резкий поворот “влево”. В романе Гордон спрашивает у безработного коммунистического вожака:

— Вы читали мои книги?”

— Да.

— Они вам понравились?

— Нет, — сказал высокий.

— Почему?

— Не хочется говорить.

— Скажите.

– По-моему, все они дерьмо, – сказал высокий и отвернулся”.

Критика, “левая” и “правая”, сделала всё, чтобы роман не раскупался. Но в очередной раз обструкция не помогла: тираж разошёлся мгновенно. По признанию М. Каули, один рыбак из Флориды, занимающийся на своём катере тем же, что и хемингуэвский Гарри Морган, сказал ему: “Если вы собираетесь написать что-нибудь плохое о Хемингуэе, вам не следует разговаривать со мной. Хемингуэй создал этот бизнес – фрахтование судов, он привлёк сюда рыбаков”. Вот вам ещё одно свидетельство того, что литературное признание в США зависит вовсе не от спроса на книги и их предложения или, скажем, экономических законов. Этот рынок там, как у нас говорят, регулируемый.

За 77 лет, что прошли со дня выхода “Иметь и не иметь”, эпигоны Хемингуэя написали, наверное, десятки вольных переложений “неудачного” романа. Например, перу Ирвина Шоу, у которого Эрнест увёл свою будущую (четвёртую) жену Мэри Уэлш, принадлежит экранизированный в СССР роман, совпадающий даже по смыслу названия с “Иметь и не иметь” – “Богач, бедняк”. Ну, что ж: Хемингуэй увёл у И. Шоу жену, а тот переписал его роман. Ничего личного.

## Глава 6. Хемингуэй и масоны

На первый взгляд, нет явлений, более удалённых друг от друга, чем Хемингуэй и масонство. Вообще-то так оно и есть: он крайне редко писал о масонах и масонстве, но вот для “детей вдовы” и этого оказалось достаточно, чтобы заиметь на писателя здоровенный “зуб”.

Первое упоминание о масонах у Хемингуэя мы найдём в антиамериканском фельетоне “Попробуйте побриться бесплатно”, напечатанном в канадской газете “Торонто стар уикли”, где будущий писатель сотрудничал, когда ему было 20 лет: “Страной и родиной храбрых” – так скромно именуют республику, расположенную к югу от нас, некоторые её граждане. Возможно, что они храбрые, но что касается свободы – никакой свободы там нет: за всё приходится платить. Время бесплатных завтраков прошло, а если ты попытаешься вступить в общество вольных каменщиков, то тут тебе напомнят, что это будет стоить семьдесят пять долларов”. Таким образом, благодаря свидетельству Хемингуэя, нам известен вступительный взнос в низовую американскую масонскую ложу конца 10-х годов. Для того времени он был немаленьким: простые каменщики (невольные, так сказать) не могли себе позволить стать каменщиками вольными.

А в романе “Иметь и не иметь” (1937) писатель позволил себе посмеяться уже над святой святых американского истеблишмента – масонской ложей “Череп и кости”: “Мужчины, которые на высоте в “Черепе”, редко оказываются на высоте в постели”.

Странное дело: Хемингуэй, достаточно равнодушный к таким явлениям политической и общественной жизни, как сионизм и масонство, обладал каким-то удивительным свойством обидно задевать их вождей, подчас могущественных: Лёба (“Фиеста”), президента США Трумэна (“За рекой, в тени деревьев”), члена политбюро французской компартии и секретаря исполкома Коминтерна Андрэ Марти (“По ком звонит колокол”), который, в нарушение резолюции IV конгресса Коминтерна от 9 декабря 1922 года о “несовместимости коммунизма с франкмасонством”, тайно оставался масоном. И пока французские коммунисты в середине 60-х годов не объявили Марти ренегатом, “Колокол”, самый “левый” роман Хемингуэя, был запрещён для публикации в СССР.

Спрашивается, зачем Хемингуэю, принципиальному эгоцентристу и даже эгоисту в творческих делах, нужны были эти импотенты и гомосексуалисты с черепами и костями, все эти лёбы, трумэны, марти? А так, ни зачем, как сказал бы Л. Толстой. Он и знать не знал, скорее всего, что Лёб станет известным сионистом, и что Трумэн и Марти – масоны. Просто он был одним из последних свободных западных художников, не закрывающих поминутно самим себе рот (как бы чего не вышло!). А за это надо было платить.

Но, как ни парадоксально, художники-индивидуалисты, усматривающие в аполитичности творческую необходимость и ничего больше, чаще других по-

падают в ловушки, расставленные политиками. Увы, профессиональные соображения никогда не были серьёзным противовесом политике. Ибо всякая независимость относительна и прозрачна, кроме той, что имеет опору в Боге и совести.

Хемингуэй написал в “Снегах Килиманджаро”: “И ведь это неспроста — правда? — что каждая новая женщина, в которую он влюблялся, была богаче своей предшественницы”. Молодая честолюбивая еврейка Марта Гельхорн, дочь гинеколога и суфражистки, не была богаче Полины Пфейфер. Сойдясь с ней, Хемингуэй как бы отделял себя от своего героя. Но это только на первый взгляд. У Марты было то, что порой важнее денег: связи в высших кругах США. В частности, она дружила с женой президента Рузвельта Элеонорой. А бывший работодатель Марты и, как говорили злые языки, любовник Гарри Гопкинс, по утверждению Франсиско Франко в книге “Масонство” (изданной под псевдонимом Хакин Бор), был вторым по влиянию человеком в США и чуть ли не главным американским масоном.

Судя по произведениям Хемингуэя и свидетельствам его биографов, именно Полина стала для него во второй половине 30-х годов живым олицетворением того, что было ему так ненавистно в мире конов и лёбов. Здесь сказался, вероятно, хотя и физически активный, но замкнутый в кругу семьи тогдашний образ жизни Эрнеста. На самом деле Полина была уже не та, что десять лет назад. Она родила Хемингуэю, каждый раз в муках, двух сыновей. Когда-то она сыграла неблагоприятную роль в жизни писателя, но всякий человек — это, прежде всего, человек, а не функция (особенно если этот человек — жена и мать). Нет никаких сомнений, что Полина была порождением враждебного Хемингуэю мира, но не в меньшей степени его порождением была и Марта. Обмен Эрнестом “правой” Полины на “левую” Марту был, в сущности, столь же небескорыстным, как и “полевение” большинства американских писателей. Молодость, смазливость, авантюризм и “левые” убеждения — вот что отличало её от Полины, но и только. Как выяснилось впоследствии, буржуазным условиям она следовала неукоснительней, нежели её предшественница. Полина терпела Хемингуэя и пьяным, и грязным, и раздражённым. Не то Марта.

По дьявольской иронии судьбы, именно из уст второй жены, которую Хемингуэй считал губительницей своего таланта, он впервые услышал, что католику не пристало поддерживать испанских “красных”. Легко представить, как он на это отреагировал.

Заявления Хемингуэя по поводу испанских событий решительным образом изменили отношение к нему прессы. Когда стало известно, что он собирается поехать в Испанию, объединение американских газет НАНА предложило Хемингуэю стать специальным корреспондентом.

Следует сказать, что Хемингуэй и раньше симпатизировал испанским “левым” (преимущественно республиканцам). Однако то, что он писал до 1936 года о начавшейся в 1931-м испанской революции, агитацией за революцию не назовёшь. В самом деле, бывая едва ли не каждый год в Испании, Хемингуэй, в прошлом профессиональный журналист-международник, хорошо знал, что тамошние “правые” пользуются влиянием отнюдь не только в обеспеченных слоях общества, но и среди крестьян. Не мог он не знать и о том, что франкистскому террору непосредственно предшествовал *красный террор* (точнее, просто уличный разбой) после победы Народного фронта на выборах 1936 года. Во всяком случае, в “Колоколе” мы найдём описание кровавой бессудной расправы республиканцев над “правыми”. Едва ли мы ошибёмся, если скажем, что в 1936 году не просто группа генералов организовала военный мятеж, и одна половина испанского народа сошлась в кровавой схватке с другой. Сталин, например, отлично это понимал и отнюдь не сразу стал активно поддерживать республиканцев (и не бесплатно, кстати), хотя на их территории царил небывалый даже среди европейских коммунистов культ личности Сталина, о чем “левые” в нынешней Испании стараются не вспоминать.

В мае 1937 года Хемингуэй вернулся из первой поездки в Испанию. В памятный для него день 8 июля Марта с помощью Элеоноры Рузвельт устраивает для президента просмотр только что озвученного документального фильма голландского коммуниста Йориса Ивенса “Испанская земля”, сценарий которого написал Хемингуэй. А месяцем раньше, 4 июня, неозвученная лента демонстрировалась на II Конгрессе американских писателей. В зале фешене-

бельного Карнеги-холла в Нью-Йорке, где проходил Конгресс, присутствовало три с половиной тысячи человек. В большинстве своём это были коммунисты, троцкисты и сочувствующие “левые” масоны. По размаху и политической окраске мероприятие можно было сравнить лишь с I съездом Союза советских писателей в 1934 году. Да и атмосфера в писательских кругах “свободной” Америки мало отличалась от тогдашней советской. 1 февраля 1938 года председатель Лиги американских писателей прозаик-юморист Дональд Стюарт (прототип Билла Гортон из “Фиесты”) обратился к писателям США с предложением высказаться по двум вопросам: “Вы “за” или “против” Франко и фашизма (курсив мой. — **А. В.**)? Вы “за” или “против” законного правительства и народа республиканской Испании?” Франко был не ангел, а палач в духе главного комиссара Интербригад Андрэ Марти, но предельная “демократичность” выбора, заложенная в вопросах Стюарта, что-то напоминает, и не только из эпохи 30-х годов. Ах, вот что: ельцинское “Да. Да. Нет. Да”, когда телевидение вдалбливало людям в голову “нужные” ответы на вопросы референдума о власти в апреле 1993 года.

4 июня 1937 года одетый в толстый шерстяной костюм Хемингуэй взобрался на трибуну Конгресса американских писателей. По его красному лицу градом струился пот. Он поминутно ворочал шеей, борясь с душившим его галстуком. Он, охотник и рыбак, первый раз в жизни выступал перед столь многочисленной аудиторией. Но вероятно, писатель чувствовал себя неудобно не только поэтому. Никакой любви к собравшимся он не испытывал, как и они к нему, несмотря на устроенную овацию. Речь Хемингуэя походила на те, с которыми у нас любил выступать Шолохов. Тот ругательски ругал писателей, безвылазно сидевших в Москве и Ленинграде и занимавшихся интригами и доносами. Хемингуэй, в свою очередь, предложил собравшимся, многие из которых ещё недавно обвиняли его в малодушии и наигранной мужественности, отправиться в Испанию: “Писать правду о войне очень опасно, и очень опасно доискиваться правды. Я не знаю в точности, кто из американских писателей поехал в Испанию на поиски её. Я знаю многих бойцов батальона имени Линкольна. Но это не писатели. (О, сколько яду! — **А. В.**) В Испанию поехало много английских писателей. Много французских и голландских писателей. А когда человек едет на фронт искать правду, он может вместо неё найти смерть... Стоит ли рисковать, чтобы найти эту правду, — об этом пусть судят сами писатели. Разумеется, много спокойнее проводить время в учёных диспутах на теоретические темы”. Нанеся, таким образом, почтенному собранию чувствительную рану, оратор затем посыпал её солью, предположив, что соотношение вернувшихся к не вернувшимся из Испании будет 2:12.

Выступление Хемингуэя, конечно, мало понравилось собратям по перу, но они вынуждены были съесть его молча, а потом ещё долго аплодировали. Этого триумфа и ждал автор. Именно в этот период Хемингуэй прищемил нос Истмену, а потом показывал раскрытую книгу журналистам: “Это пятно от носа Истмена”. А дабы потерпевший не начал против него новую травлю в печати, Хемингуэй, кое-чему научившийся в Испании у коммунистов, напомнил Истмену, что его друзья-троцкисты из каталонской организации ПОУМ подняли в Барселоне мятеж против центрального правительства.

Теперь для американской “прогрессивной общественности” Хемингуэй был не талантливый инфантильный чудак, предпочитавший политике охоту и рыбную ловлю, а писатель № 1, американский Маяковский. Триумф, хотя и с сильным привкусом желчи, состоялся. В августе Хемингуэй возобновляет контракт с НАНА и снова отплывает в Испанию. За ним следует Марта.

Хемингуэй, вероятно, не задавал себе вопроса, почему мнение не только “левых” американских и европейских кругов, но и либеральных, выражавших волю крупного капитала, оказалось вдруг на стороне испанских “красных”. Уже после фиаско испанской революции на этот вопрос отчасти ответила Долорес Ибаррури: “Президент республики Мануэль Асанья и лица из его ближайшего окружения были масонами. Председатель парламента Мартинес Баррио, значительная часть членов буржуазных республиканских партий и даже лидеров социалистической партии тоже принадлежали к масонским группам, равно как и некоторые руководители национальных профсоюзных организаций ВКТ и НКТ... Приняв участие в интригах и махинациях, сплетённых за пределами нашей страны (курсив мой. — **А. В.**), они превратились в силу, оказывающую отрицательное влияние на судьбы республики”. При этом зна-

чительная часть “братьев”, как подчёркивала Ибаррури, впоследствии перешла к мятежникам.

## Глава 7. Хемингуэй и НКВД

Бывшая сотрудница спецслужб Ирина Фёдоровна Огородникова, работавшая в нашей разведшколе в Тегеране ещё во время Великой Отечественной войны, а потом — в Иностранной комиссии Союза писателей СССР, как-то на редколлегии журнала “Новая Россия” уверенно сказала мне, когда речь зашла о Хемингуэе: “В Испании он стал агентом НКВД”.

Ну, мало ли что о ком говорят даже такие осведомлённые люди, как И. Ф. Огородникова, однако сведения в открытой печати о Хемингуэе, появившиеся ещё в советское время, отнюдь не противоречат утверждению Огородниковой. Так, в “Краткой летописи жизни и творчества Хемингуэя”, приложенной к его собранию сочинений (1982), читаем: “В Мадриде Хемингуэй выполняет ответственные задания республиканского командования” (А. Старцев). Биограф писателя Б. Грибанов уточняет: “Писатель... не раз брал в руки оружие и стрелял по фашистам. Более того, известно, что он выполнял некоторые ответственные поручения республиканского командования, *связанные с работой контрразведки* (курсив мой. — **А. В.**). Естественно, молодая спецслужба правительства Народного фронта не могла бы эффективно работать без прямой опеки дружественной советской. И уж ясно, что “разработку” всемирно известного писателя профессионалы из НКВД не отдали бы целиком на откуп любителям из Управления безопасности Испании. Иные из “ортодоксов” спросят: “А разве лучше, если бы Хемингуэй был сотрудником какой-нибудь импералистической разведки?” Нет, не лучше, но следует понимать, что тогдашняя советская зарубежная агентура была сформирована в годы, когда в НКВД правили бал Ягода, Агранов, Артузов, Бокий, Паукер и иже с ними, а публика эта всегда была далека от интересов русского народа, а стало быть, от интересов России. Какие у них были интересы, разговор особый и требующий отдельного исследования. Бокий, например, был официально осуждён за организацию масонской ложи (розенкрейцеров), и, судя по тому, что даже словоохотливый зять Бокия писатель Разгон по этому поводу не распространялся, тема до сих пор является закрытой. Так что из посылки “Хемингуэй — агент НКВД” отнюдь не следует, что он являлся *нашим* агентом. Хорошо известно, кто в Испании его “опекал”, — М. Кольцов и И. Эренбург, такие же перевёртыши, как новообращённые американские коммунисты, поскольку в годы гражданской войны они клеймили в белогвардейской прессе большевиков.

Что же толкнуло Хемингуэя на игру в шпионы и сыщики? Воспоминания об английском разведчике и журналисте Райалле, перед которым как личностью в молодости он преклонялся? Пример Марты, подозрительно долго для журналистки торчавшей в Мадриде? Любовь любовью, но ведь есть ещё и бомбежки! Знакомство с Кольцовым и Эренбургом, которым доставляло особое удовольствие относиться к живому классику фамильярно и покровительственно? Есть фотография мадридской поры, где стоящий в задумчивой позе Хемингуэй внимает разглагольствованиям развалившегося на койке Эренбурга. О связях этой “сладкой парочки”, Кольцова и Эренбурга, с НКВД в последнее время говорилось и писалось достаточно. В “Колоколе” Кольцов (Карков) ясно даёт понять окружающим, что он человек, держащий в руках тайные нити внутренней и внешней политики республиканской Испании. Хемингуэя временами тянуло к таким людям, призрачным и пустым, как инфузории, вероятно, потому, что их мир, как и мир реальных инфузорий, был ему совершенно неведом. Так, в первый раз увидев под микроскопом жизнь амёб и инфузорий, мы считаем её загадочной и сложной, пока не взглянем в третий и в четвёртый раз и не убедимся, что она всегда одна и та же, и загадочна только на примитивном, одноклеточном уровне.

Хемингуэй времён гражданской войны в Испании — “раздвоенный” писатель. Типичный пример этой раздвоенности — одновременно написанные сценарий фильма “Испанская земля” и рассказ “Под защитой горы”. Но рассказ, в отличие от фильма и газетных репортажей Хемингуэя, не увидел свет в 1937 году. И не мог увидеть, потому что в нём с откровенностью опустошённого человека Хемингуэй признаётся в том, что в фильмах и очерках, мягко

говоря, он показывает неправду. Это особенно очевидно в эпизоде танковой атаки у реки Харамы, имеющемся и в сценарии, и в рассказе. "...Наиболее удивительное, что было за этот день, это как здорово вышла у нас съёмка танков. На экране они неудержимо поднимались вверх по склону, преодолевая горные кряжи, точно огромные корабли, и с лязганьем ползли к призрачной победе, которую мы снимали на плёнку" ("Под защитой горы"). На самом деле французские танкисты-добровольцы отказались идти в атаку, и наступление захлебнулось. Оператор Джон Ферно снимал, как танковая колонна возвращается в тыл республиканских войск.

Но рассказ "Под защитой горы" не о мнимой танковой атаке. Он о пожилом французе, который, как и Фредерик Генри из "Прощай, оружие!", решил выйти из чужой войны и был застрелен людьми Андрэ Марти, интербригадовскими особистами. "Я понимал, что можно вдруг... увидеть всё происходящее ясно и правильно, как человек прозревает перед смертью; увидеть всю безнадёжность, весь идиотизм этого, увидеть всё, как оно есть на самом деле, — и тогда просто повернуть назад и уйти, подобно этому французу... В тот день ближе всех, пожалуй, приобщился к победе француз, вышедший из боя с высоко поднятой головой. Но его победа длилась только до тех пор, пока он прошёл всю половину спуска с горы. Он лежал, вытянувшись на склоне, всё ещё со скаткой из одеяла через плечо, и мы увидели его там, когда шли по ущелью к штабной машине, которая должна была увезти нас в Мадрид".

Не знаю, кого или что победил этот француз, — точно так же Франция "победила" Гитлера в 1940 году. Вышла, так сказать, "из боя с высоко поднятой головой". Недаром Кейтель, увидев на церемонии подписания капитуляции Германии французских представителей, спросил: "А Франция нас тоже победила?" Жуков мрачно кивнул. "Понятно", — сказал Кейтель, насмешливо блеснув моноклем. Поэтому я не думаю, что в случае с французским дезертиром зловещие особисты Марти были так уж неправы. На войне, как на войне. Другое дело, что Хемингуэй, оказывается, в глубине души был на стороне дезертира, а сам вскоре в Нью-Йорке призывал американских писателей ехать воевать в Испанию.

В сущности, француз был хорошо знаком Хемингуэю. Он разминулся с постаревшим лейтенантом Генри. Писатель уезжает в Мадрид, увозя с собой, в своей памяти мёртвого французца, как Ален Делон в фильме "На ярком солнце" тащит за яхтой на верёвке, которую в суматохе забыл обрезать, труп убитого и брошенного за борт приятеля-богача. Тело до поры до времени поκειται в воде, но приходит срок, и его вытягивают за верёвку, и хитроумный преступник разоблачен. Он, оказывается, возил с собой своё разоблачение.

Так, переступив через трупы застреленных особистами Марти интербригадовцев, Хемингуэй направляется, как ему кажется, вперёд — к своему триумфу в Нью-Йорке, а на самом деле едет назад, к собственному разоблачению.

"Разоблачение" — так и называется рассказ писателя (1938), в котором он, наряду с пьесой "Пятая колонна" (1937), отразил свою агентурную деятельность в Мадриде. Эти произведения, пересекаясь по сюжету, как "Испанская земля" и "Под защитой горы", точно так же совершенно противоположны по звучанию и пафосу. Тайная канва "Пятой колонны" состоит в том, что герой, американец Филип Ролингс, прожигая жизнь в мадридском баре "Чикотес", на самом деле следит за человеком в "берете и плаще", в котором подзревает франкистского шпиона. Но когда Ролингс передаёт подозрительно-го незнакомца своим подручным, те отпускают его. Кончается всё тем, что шпион убивает интербригадовца Уилкинсона, приняв его за Ролингса. В общем, сюжетец о бдительности для советских фильмов о диверсантах и вредителях конца 30-х годов.

Скорее всего, ближе к истине ситуация описана в "Разоблачении". Дело происходит в том же баре "Чикотес". Хемингуэй сидел в баре с десятифунтовым куском парной говядины, полученным в американском посольстве (вот как подкармливали!). За одним из столиков он (повествование ведётся от лица автора) замечает своего давнего приятеля Луиса Дельгадо, о котором, однако, было известно, что он уже больше года служит лётчиком у франкистов. Последний раз Хемингуэй видел Дельгадо в 1933 году в Сан-Себастьяне во время стрельбы по голубям. "Мы с ним держали пари на сумму, превышающую мои возможности, да, как мне казалось, превосходившую и его платежеспособность в том году. Когда он, спускаясь по лестнице, всё-таки запла-

тил проигрыш, я подумал, до чего же хорошо он себя держит и всё старается показать, что считает за честь проиграть мне пари”.

Узнал Дельгадо и официант, сообщивший об этом Хемингуэю. Поначалу писатель сказал официанту: “Не моё это дело”. Тот отходит недовольный и задумчивый: он понимает, что теперь может приобрести в лице Хемингуэя влиятельного свидетеля своей нелояльности, если не донесёт на Дельгадо. Официант снова подходит к писателю: “А вы? Ведь раз уж я вам сказал...” Хемингуэй повторяет: “Это ваше дело. В политику я не мешаюсь”.

Насчёт нейтралитета писателя в политике, конечно, даже у официанта возникли сильные сомнения. Подойдя в третий раз, он уже открыто спрашивает:

“— А если я этого не сделаю?... Я же отвечаю.

— Если хотите, подите и позвоните по этому номеру. Запишите. — Он записал. — Спросите Пепе, — сказал я”.

Человек, фамильярно названный Пепе, был начальником службы контрразведки Управления безопасности Испании. На самом деле под этим псевдонимом скрывался отец еврокоммунизма Сантьяго Каррильо, будущий генеральный секретарь компартии Испании и её либеральный могильщик в 1980-е годы. А в 1937-м он был заплечных дел мастером. “Конечно, — опрашивается Хемингуэй, — он узнал бы этот телефон, позвонив в справочное”. Как будто дело было в телефоне! Не телефона ждал от него официант (во время войны такие телефоны в барах, которые посещают иностранцы, официанты знали!), а одобрения, и получил его в виде телефонного номера. “...Я указал ему кратчайший путь для того, чтобы задержать Дельгадо, и сделал это в приступе объективной справедливости и невмешательства, и нечистого желания поглядеть, как поведёт себя человек в момент острого эмоционального конфликта, — словом, под влиянием того свойства, которое делает писателей такими привлекательными друзьями”. Видите, как накручено! Такой запутанной гаммы чувств у Хемингуэя я прежде не встречал. Тут тебе одновременно и “объективная справедливость” (необходимость задержать явного шпиона Дельгадо), и “невмешательство” (в чём оно?), и “нечистое желание” понаблюдать за мечущимся официантом. Не слишком ли много для порядочного человека, пусть даже и писателя? Есть что-то общее между этой беседой и разговором Ивана Карамазова со Смердяковым перед убийством Фёдора Павловича. “Зачем вы, сударь, в Чермашню не едете-с?”

Дельгадо арестовали, а потом, вероятно, расстреляли. О последнем Хемингуэй молчит. Молчит он и о том, что Дельгадо тоже мог узнать писателя, а в этом случае франкист не ушёл из бара только потому, что был уверен: старый знакомый его не предаст... Как всякий интеллигент-эгоист Хемингуэй, ощутив вину, инстинктивно склонен переложить её на другого. “Может быть, вам это понравится”, — говорит он официанту, прощаясь, но тот чисто по-испански быстро “уравнял” шансы: “Вы забыли свёрток, — сказал официант. Он подал мне мясо”.

Мясо — это то, чем вскоре обречён стать Дельгадо. Хемингуэй мог убедить кого угодно, что Дельгадо — враг, которого нужно уничтожить, если он не сдаётся, но никто не мог убедить его самого, что он поступил, как джентльмен.

Цена свободу больше всего, Хемингуэй выполняет в Мадриде унижительные для себя обязанности цензора, следит, чтобы кто-то из американской журналистской братии не написал бы что-нибудь в угоду франкистам...

В “Испанской земле” и “Пятой колонне” писатель перешагнул порог допустимого для честного писателя вымысла. Если сравнивать обстоятельства его реальной жизни с обстоятельствами жизни героев, получается следующая картина. Ник Адамс равен автору. Джейк Барнс имеет физический изъян, которого нет у Хемингуэя. Подразумевается, что и морально он ниже, ибо не осталось свидетелей, что Хемингуэй занимался сводничеством. Фредерик Генри постарше Хемингуэя в 1918 году и произведён из рядовых в офицеры. Разменивающий талант на комфортную жизнь писатель-эгоист Гарри равен Хемингуэю, однако Хемингуэй не умирает. Гари Морган беднее, но правдивее Хемингуэя. Филип Ролингс насквозь лжив, потому что придуман, дабы оправдать моральный проступок автора.

А в жизни обстояло так: преданный Дельгадо вдруг образовывал нравственную конфигурацию с обречённым на смерть пьяной шуткой итальянским солдатом и брошенной ради красивой жизни любимой женой.

Кто знает, может быть, жизнь была оставлена Хемингуэю в залог погубленной жизни солдата? Как бы там ни было, его душа была в ответе за душу того итальянца. Бросив Хэдли, он пал и, что печальнее всего, уже во второй раз, потому что смерть итальянца роковым образом тогда становилась первым падением. Разоблачение вины перед Хэдли и своим писательским долгом позволило ему в творчестве подняться до высот “Снегов Килиманджаро”. Донос на человека, не сделавшего ему ничего плохого и даже симпатичного, донос, дьявольским образом сосредоточенный всего в нескольких цифрах — телефонном номере, — делал крах этого блестящего одаренного художника необратимым.

Вернуть самоуважение писатель решил так же, как и в “Снегах Килиманджаро”, — разоблачением своей слабости. Появились рассказы “Разоблачение” и “Мотылёк и танк”, опубликованные в ноябре 1938 года, хотя по совести они должны были появиться, по крайней мере, на год раньше, когда американские добровольцы все ещё отправлялись по призыву Хемингуэя в Испанию.

Но что такое разоблачение без раскаяния? А на письменном столе писателя растёт новая стопа бумаги. Это “По ком звонит колокол”, своеобразное продолжение несчастной “Пятой колонны”. Роман обещан публике, его ждут. Я бы предпочёл не распространяться об этой книге, которой не люблю, но она отняла последние силы у Хемингуэя-романиста и, хочешь не хочешь, является вехой в его жизни и творчестве.

Справедливость требует отметить, что “Колокол” — это не халтура в духе “Пятой колонны” и “Испанской земли”. Роман написан профессионалом. Но холодным профессионалом. Впервые писатель выполняет “социальный заказ” высших кругов США (вероятно, не без участия Марты и Элеоноры Рузвельт), чего не было даже в “Пятой колонне”. Герой романа Роберт Джордан постоянно проводит аналогии между гражданской войной в Испании и гражданской войной в США, причём высказывает уверенность, что испанские республиканцы сыграют ту же роль в истории страны, что и республиканцы-северяне в США. Сомневаюсь, что Хемингуэй по собственной инициативе мог писать эти глупости. Республиканцы в Испании к 1936 году почти утратили политическое влияние и являлись лишь ширмой, за которой правила коммунисты и левые социалисты, поскольку Сталин в ответ на предложение премьер-министра Хуана Негрина передать им всю полноту власти высказался резко отрицательно. Он хотел, чтобы у власти находилось буржуазно-демократическое правительство, неявно, но надёжно контролируемое коммунистами, как некогда в “буферной” Дальневосточной республике (1920–1922). Джордан, разглаговльствуя о роли испанских республиканцев, не уточняет, каким образом эта марионеточная политическая сила нейтрализует после победы над “южанами” (франкистами) коммунистов, левых социалистов, троцкистов и анархистов. В общем, выполняя социальный заказ, Хемингуэй не очень углублялся в политические дебри. Всё это не достоинства и не недостатки. Дело в другом.

Романом “По ком звонит колокол” Хемингуэй нарушил заповедь, которую собственноручно начертал в “Смерти после полудня”: “...не следует путать серьёзного писателя с торжественным писателем. Серьёзный писатель может быть соколом, или коршуном, или даже попугаем, но торжественный писатель всегда — суч”.

Американской публике, как и следовало ожидать, роман понравился. Пресса хвалила его на все лады. За короткое время общий тираж книги на английском языке превысил миллион экземпляров. По иронии судьбы, этот самый политический и самый “левый” роман Хемингуэя, в котором деятельность коммунистов в Испании получила в целом высокую оценку, был до 1968 года запрещён в СССР, хотя и весьма оригинально: упоминать о нём и даже цитировать его разрешалось, причём в положительном духе. Ларчик открывался просто: запрету наши читатели были обязаны не столько внутренней, сколько внешней цензуре. Испанским коммунистам, например, не нравилось, что их Пассионария (Долорес Ибаррури) изображена в “Колоколе” болтливой восторженной тёткой, а французских товарищей, как мы уже говорили, оскорблял портрет заплечных дел мастера Андрэ Марти — главного комиссара Интербригад, члена политбюро ЦК ФКП и секретаря исполкома Коминтерна.

Что же касается сталинской цензуры, то ей, конечно, не понравился все- сильный московский советник Карков, прототип которого М. Кольцов



в 1940 году, когда вышел “Колокол”, уже сидел в тюрьме. А ведь именно Карков в романе ставит на место зарвавшегося Марти. Получалось, что “верному ленинцу-интернационалисту” автор предпочёл “диверсанта и троцкиста”. Взбешённый Марти на это и давил.

Ситуация с “Колоколом” весьма показательна для молодых писателей, стоящих перед выбором: браться за политику или нет. Совершенно чуждые сталинской идеологии “Фиеста” и “Прощай, оружие!” были напечатаны в “тоталитарном” СССР ещё при жизни автора, а почти коммунистический “По ком звонит колокол” — только через семь лет после смерти.

## Глава 8. Замкнутый путь в тумане

1949–1952 годы были самыми творчески бездарными для Хемингуэя, хотя он продолжал сочинять романы, не прерываясь ни на день. Увы, все эти “Острова в океане”, “На земле, на воде и в воздухе”, “За рекой, в тени деревьев” лишены и того профессионального блеска, который мы ещё видим в “Колоколе” и испанских рассказах. Разрыв между мнимым и желаемым, впервые обнаружившийся в “Пятой колонне”, всё увеличивался.

Ситуация внутреннего двуличия, душевная и творческая трагедия усугубляются алкоголизмом. Может быть, писать так прямо об этом некорректно, тем более что я Хемингуэю, как говорится, не наливал. Современники и биографы уклончиво говорят о “чрезмерном пристрастии к выпивке”. Но сам Хемингуэй написал в письме И. Кашкину (1935) вполне определённо, что называется, по-русски: “Я пью с пятнадцатилетнего возраста, и мало что доставляло мне такое удовольствие”.

И впрямь, если физически сильный, тренированный и опытный мужчина постоянно ломает руки-ноги, разбивает голову, попадает в автомобильные катастрофы и неудачно заряжает ружья; если первого льва во время сафари убивает не папа-Хемингуэй, а бывшая модель Полина Пфейфер, до того толком не державшая в руках оружия; а на берег Франции в 1944 году вместе с англо-американским десантом первой высаживается Марта Гельхорн, а не её честолюбивый муж-войка, это не значит, что он был слаб, неумел или робок. Это значит, что он часто бывал мертвецки пьян. Как и герой “Колокола” Роберт Джордан, Хемингуэй предпочитал французский абсент, напиток, влияющий на деятельность головного мозга и погубивший в своё время Поля Верлена.

Нужно в который раз отдать должное писателю: благодаря сверхъестественной работоспособности и высокой профессиональной выучке он выбирался из этой, в общем-то, безвыходной для художника ситуации. Сыграло свою роль и честолюбие. Если один даровитый писатель, долгое время считавшийся первым, двенадцать лет топчется на месте, то первым провозглашается другой даровитый писатель. В конце 40-х годов Хемингуэя резко обошёл Уильям Фолкнер. В 1949 году он стал лауреатом Нобелевской премии, которая тогда существовала не для безвестных литературных пенсионеров, как ныне. Хемингуэй же премию получил лишь в 1954-м, хотя кандидатура его обсуждалась с конца 30-х годов. Я не очень верю появившимся после смерти писателя свидетельствам современников, что Хемингуэй крайне пренебрежительно относился к Нобелевской премии и корил себя за то, что не отказался от неё в 1954 году. Скажем, А. Е. Хотчнер пишет в книге “Папа Хемингуэй” (М., “Текст”, 2002): “Как часто Эрнест с завистью вспоминал о Жан-Поле Сартре, который смог отказаться от Нобелевской премии, когда ему присудили эту награду. “Я думаю, Сартр понимал, — однажды с печалью и сожалением сказал Эрнест, — что эта премия — проститутка, которая может соблазнить и заразить дурной болезнью. Я знал, что раньше или позже и я получу её, а она получит меня. А вы знаете, кто она, эта блудница по имени Слава? Маленькая сестра смерти” (с. 16). Между тем, Сартр отказался от Нобелевской премии в 1964 году, когда Хемингуэй уже три года как лежал в могиле. Может быть, он восстал из неё и явился поболтать к мистеру Хотчнеру о Нобелевской премии в качестве привидения? Поэтому не читайте “Папу Хемингуэя” Хотчнера — это крайне недостоверное свидетельство о жизни и творчестве писателя.

Вдохновлённый юной Адрианой Иванчиц, Хемингуэй пишет “Старик и море” (1952). Эта повесть несопоставима, конечно, ни с “Макомбером”, ни с “Килиманджаро”, но она цельное и мастерски написанное произведение.

Кроме того, в “Старике” есть ещё нечто, тонко подмеченное писателем-соперником Фолкнером: “На этот раз он нашёл Бога, Создателя. До сих пор его мужчины и женщины творили себя сами, лепили себя из собственной глины: побеждали друг друга, терпели поражения друг от друга, чтобы доказать себе, какие они стойкие. На этот раз он написал о жалости — о чём-то, что сотворило их всех: старика... рыбу... акул, которые должны были отнять её у старика, — сотворило их всех, любило и жалело”. Фолкнер угадал: теперь Хемингуэй не столь категоричен в отношении христианской религии, как после Испании. Из письма к родственникам: “Хотя прежде я молился Богу, теперь, после того, как католическая церковь в Испании поддержала Франко, не хочу больше молиться”. Получив в 1954 году золотую нобелевскую медаль, Хемингуэй передал её в дар Святой Деве Карidad в соборе Эль Кобре на Кубе. Из “Опасного лета” (1960) мы узнаём, что он снова молится: “...я помолился за всех, кого можно считать заложниками судьбы, за всех друзей, больных раком, за всех знакомых женщин, живых и умерших...”

Начиная с 1953 года, Хемингуэй часто посещал Испанию, не особенно смущаясь тем, что там правит проклятый Франко. Он снова увлёкся корридой, и это невольно возвратило его память к временам “Фиесты”, тем более что его новый друг матадор Антонио Ордоньес был сыном Каэтано Ордоньеса, прототипа Педро Ромеро из “Фиесты”. Теперь Хемингуэй ясно понимает, что именно тогда, в 20-е годы, завязались главные узлы его жизни. “Опасное лето” — книга скорее очерковая, чем художественная, — дала хороший разгон пера для отложенных воспоминаний о Париже 20-х годов и жизни с Хэдли. “Праздник, который всегда с тобой” — вещь не только хорошо написанная, но и волнующая, как первые книги Хемингуэя.

Всё пришло туда, откуда начиналось. Человек играет в жизни свою роль, все прочие роли — чужие. Главную мысль о себе и своей жизни Хемингуэй попытался заменить десятками других, но не заменил, а лишь разменял главную. Когда он это осознал, душевный источник, так долго и щедро питавший его, иссяк. Хемингуэй полагал, что сам себя сделал, что развил свой талант тренировкой, как это делают со своим физическим даром спортсмены. Годы и испытания лишаю рекордсмена только результатов, они не могут отнять у него класс. “Техника не пропивается”, — как говорят русские футболисты. Но Хемингуэй ошибся — в его случае дело было не в профессионализме. Он спутал причину и следствие. Ему казалось, что в технократическом обществе иррациональную задачу можно решить рационально. Тот отсвет небесного огня, который, как зеркало, отразила его душа, он принял за свой собственный, поймал его в фокус творческой теории. Со временем зеркало потускнело: он остался один, без света в душе.

Самое ужасное в этих сумерках было то, что все годы, когда он шёл по жизни как маститый, уверенный в себе писатель, отлетели от него, шестидесятилетнего. Он вернулся в своё настоящее, в 20-е годы, в Париж, в Испанию, но теперь оно было в тени, как та половина Луны, что оказалась на прямой меж Землей и Солнцем. Возвратились не радости молодости, а её мучения: он, богач, снова считает копейки, как в парижской квартире над лесопилкой, а во всех остальных богачах ему мерещатся враги — лёбы, пфейферы и мэрфи. Когда осенью 1960 года Хемингуэй в последний раз приехал в Испанию, то одного из своих приятелей-миллионеров, Билла Дэвиса, описанного в “Опасном лете”, обвинил в намерении убить его.

Каждая строчка даётся ему теперь с мучительным трудом. После избрания Кеннеди президентом США Хемингуэя попросили сделать надпись на книге, которую предполагалось подарить новому хозяину Белого дома. Слепнувший писатель мучился над титульным листом целый день, а потом сидел и плакал в сумерках. “Отцы и учителя, мысля: “Что есть ад?” Страдание по тому, что нельзя уже более любить”.

Трагедия индивидуализма вовсе не в том, что человек оказывается один среди людей: он остаётся без Бога, а это страшнее. На пути греха не Бог отдаляется от нас, а мы от Бога: чем мы дальше, тем труднее нас окликнуть. Наступает время, когда заблудший вовсе не слышит Бога; ему кажется, что и Он не слышит его.

И тогда появляется мысль о самоубийстве.

Но здесь важно понять вот что: достаточно ли мысли о нём, пусть и навязчивой, чтобы человек привел своё намерение в исполнение? Думаю, что

нет. Неврастения, депрессия, суицидальные мысли – не редкость у писателей, как ни прискорбно. Что их – у Льва Толстого не было? Даже попытки покончить с собой были. Однако выбравшись из Ясной Поляны “на волю”, где домашние уже не помешали бы ему свести счёты с жизнью, Толстой не помышлял об этом. Можно даже сказать, что у душевно надломленных писателей мысли о самоубийстве – своеобразная прививка от самоубийства. Нужна последняя, уж очень основательная причина, чтобы не просто пугать домашних заряженным ружьём или привязанной к перекладине верёвкой, а спустить курок или оттолкнуть ногой табурет, стоя с петлёй на шее. Последней, решающей причиной самоубийства Хемингуэя стали жестокие пытки в психиатрической клинике. Тайна его гибели страшна и до сих не раскрыта, она заслонена другими громкими смертями того времени – самоубийством Мэрилин Монро и убийством Джона Кеннеди.

Помимо депрессии, Хемингуэй страдал многими заболеваниями, большей частью посттравматическими (они нередко и были причиной депрессии), но никто до ноября 1960 года не ставил ему диагноз “маниакальный психоз”. Не делал этого и его семейный доктор Вернон Лорд из городка Кетчум в штате Айдахо, где тогда проживал в своём доме Хемингуэй с Мэри. Но он, “просто сельский врач”, как говорил Лорд о себе, решил ввиду угнетённого состояния писателя показать его одному известному нью-йоркскому психиатру. К сожалению, словоохотливый по части всяких выдумок, вроде реакции мёртвого Хемингуэя на отказ Сартра от Нобелевской премии, А. Е. Хотчнер не сообщает нам фамилии этого психиатра, называя его просто “доктор Знаменитость”. Какая трогательная, политкорректная забота о конфиденциальности! Между тем, имя этого негодяя в белом халате следовало бы знать, как мы знаем имена докторов, замучивших Гоголя.

Пусть и трудно давались Хемингуэю его последние книги – “Опасное лето” и “Праздник, который всегда с тобой”, – но они не дают ни малейших оснований подозревать, что написаны душевнобольным. Более того, от них остаётся ощущение, что талант писателя окреп после кризиса конца 40-х – начала 50-х годов. А психические заболевания, вопреки распространённому заблуждению, ни к коей мере не способствуют развитию таланта. Талант – это ясность, цельность, логика, сила даже в самых далёких от реальности образах. Душевнобольные на это неспособны – говорю как бывший медик. И ещё: сумасшедшие никогда не характеризуют чётко поведение других сумасшедших и уж тем более – саму болезнь. Хемингуэй же в главе “Ястребы не делятся добычей” из неоконченной книги о Париже (неоконченной потому, что его упекли в “психушку”) написал о душевнобольной жене Ф. С. Фитцджеральда Зельде: “Её ястребиные глаза были ясны и спокойны. Я подумал, что всё хорошо и что, в конце концов, всё обойдётся, но тут она наклонилась ко мне и открыла свою великую тайну: “Эрнест, вам не кажется, что Христу далеко до Эла Джонсона?”

Никто в то время не обратил на это внимания. Это был просто секрет Зельды, которым она поделилась со мной, как ястреб может поделиться чем-то с человеком. *Но ястребы не делятся добычей* (курсив мой. – А. В.).”

Это одно из самых блестящих и тонких художественных определений сумасшествия, которые я знаю. Оно написано психически здоровым человеком, в какой бы меланхолии он ни находился. Автор этих строк ни в коем случае не перешёл ту роковую черту, которую перешла несчастная Зельда Фитцджеральд. Никакого маниакально-депрессивного психоза у Хемингуэя не было, только осложнённая болезнями, возрастом и угрызениями совести неврастения, так свойственная, увы, писателям вообще. Пил, кстати, он в ту пору по настоянию врачей мало. Но нью-йоркский Доктор Знаменитость “быстро во всём разобрался”, по словам Хотчнера, и направил Хемингуэя в психиатрическую клинику Мэйо на электрошоки.

В чём же, собственно говоря, этот подвох “разобрался”? Хемингуэй переживал депрессию не только из-за своего физического состояния и угрызений совести: ему казалось, что за ним по пятам следуют агенты ФБР, что повсюду рассованы “жучки”, телефоны прослушиваются, почта прочитывается, банковский счёт постоянно проверяется неведомыми аудиторами на предмет неуплаты налогов. . . Что ж, будто бы похоже на манию. Но только будто бы. . .

В начале 90-х годов прошлого века, когда в США был принят так называемый Закон о свободе информации, архивное дело Хемингуэя в ФБР рассе-

кретили, и все подозрения писателя... подтвердились, включая даже утверждение Хемингуэя о прослушивании его телефонных разговоров в самой психиатрической клинике, что врачи посчитали “обострением состояния больного”.

Мы знаем немало примеров проницательности Хемингуэя, начиная с того, как он гениально раскусил Лёба, но тут, я думаю, одной проницательностью не обошлось. Писатель был твёрдо уверен в тотальной слежке, а это значит, что у него могли быть тайные информаторы из ФБР или ЦРУ. Как-то плохо верится, что можно лишь с помощью одной интуиции с точностью предугадать все действия ФБР. Хемингуэй знал многих сотрудников американских спецслужб: ведь он в 1942–1944 годах на Кубе сотрудничал с военно-морской разведкой США, а его яхта “Пилар” была замаскирована под рыболовное судно в целях поиска немецких подводных лодок и начинена дорогостоящим секретным радиооборудованием. Контакты с разведкой Хемингуэй осуществлял через американских агентов в Гаване. Предположение, что он смог сдружиться с кем-то из них, вполне реально – Хемингуэй умел дружить. Так, например, сдружился он в Мадриде с советским подрывником Хаджи Мамсуровым (одним из прототипов Роберта Джордана), к которому вваливался с ящиком коньяку и под коньячок выпытывал подробности диверсионного и взрывного дела.

Таким образом, причины, по которым писатель оказался в сумасшедшем доме, не только не имели никакого отношения к причинам его действительно тяжёлого душевного состояния (ими никто не интересовался), но не являлись и симптомами психиатрического заболевания вообще. А теперь представьте себе состояние человека, хорошо знающего, что его лечат от несуществующей болезни. И как лечат.

Имея, видимо, основания опасаться “продвинутых” психиатров школы Зигмунда Фрейда, добивающихся своих целей при лечении точно так же, как Гарольд Лёб безуспешно добивался любви, Хемингуэй согласился лечь в клинику Мэйо в Рочестере, находящуюся под патронатом католической церкви. Но, увы, уже тогда в США кони и лёбы от психиатрии господствовали везде – в том числе и в подобных клиниках.

Мне доводилось слышать, что, когда людей пытаются электрическим током, электроды присоединяют к пальцам – и это очень мучительно. Представьте же, насколько мучительно, когда электроды присоединяют к вискам, смазанным для большего эффекта проводящей графитной смазкой. А именно так “лечили” сумасшедших в США. Обратимся к свидетельству знающего человека, американского писателя Кена Кизи, в 1959 году работавшего помощником психиатра в госпитале “Menlo Park” в Стэнфорде. Вот как он описывает в романе “Полёт над гнездом кукушки” (1962) процедуру электрошока, которой подвергся его герой Рэндел Макмёрфи:

“Повёрнуты регуляторы, и машина дрожит, две механические руки берут по паяльнику и сгибаются над ним. Он подмигивает мне и что-то говорит со шлангом во рту, пытается что-то сказать, произнести, резина мешает, а паяльники приближаются к серебру у него на висках... вспыхивают яркие дуги, он цепенеет, выгибается мостом, только щиколотки и запястья прижаты к столу, через закушенную чёрную резиновую трубку звук вроде “у-х-у-х-у!”, и весь заиндевел в искрах.

А за окном воробьи, дымясь, падают с провода.

Его выкатывают на каталке, он ещё дёргается, лицо белое от инея. Коррозия. Аккумуляторная кислота”.

35-летнему балагуру и здоровяку Макмёрфи за неделю сделали три электрошока. И, хотя он бодрился и по-прежнему хохмил, “каждый раз, когда громкоговоритель велел ему воздержаться от завтрака и собираться в первый корпус, челюсти у него каменели, а лицо становилось бледным, худым, испуганным”. 61-летнему и вовсе не здоровому Хемингуэю в декабре 1960 года сделали 11 электрошоков. Оттого-то, вероятно, 25 апреля 1961-го, когда писателя повезли обратно в клинику Мэйо, он неожиданно попытался выпрыгнуть из люка самолёта, а потом, на земле, рванул под его работающий пропеллер (оба раза ему помешал санитар-охранник). Хемингуэя всё-таки доставили в больницу, где его снова пытали электричеством в течение всего мая (9 шоков, по некоторым сведениям).

Может быть, если бы рядом с ним, стариком, была не моложавая и расчётливая Мэри Уэлш, а любящая его Хэдли, то до сумасшедшего дома и электрошоков дело бы не дошло. Но Хэдли – это была другая жизнь, которая,

увы, не состоялась. А Мэри, в сущности, оказалась на стороне его мучителей. В мае 1961 года она написала Хемингуэю в клинику: “Пожалуйста, не проси своих друзей забрать тебя из больницы, пока они не будут абсолютно уверены, что ты совершенно здоров. Никто из нас не хочет повторения того ада, в котором мы прожили последние три месяца”. Естественно, “совершенно здоровым”, особенно учитывая наступившую раннюю старость (Хемингуэй сильно сдал к шестидесяти годам), он не мог быть по определению. В сущности, Мэри предлагала мужу, одному из лучших писателей Америки, остаться в сумасшедшем доме до самой смерти, если вдруг врачи чудесным образом не объявят о его полном излечении. Но такие вердикты, насколько мне известно, они душевнобольным (или тем, кого считают душевнобольными) не выносят. “Просветление”, “ремиссия” – это да, но не полное исцеление. Психиатры ведь хорошо знают: можно вылечить даже рак, но не душевную болезнь.

Между тем, во время передышки между электрическими пытками, которую Мэри считала для себя “адам”, “сумасшедший” Хемингуэй продолжал внимательно следить за состоянием своего налогового счёта, чтобы ФБР в случае какой-то невыплаты не получило традиционную в США возможность судебной расправы над неудобным человеком. Конечно, Мэри было бы комфортней, если бы Хемингуэя подольше держали в пыточном застенке клиники Мэйо, но ведь и делами мужа она не занималась, живя, однако, на его деньги. Забудь Мэри дать адвокату указание заплатить налог за какой-нибудь крупный гонорар, поступивший на счёт, пока Хемингуэй лежал в клинике, к ней бы быстро, как черти из табакерки, явились ревизоры из ФБР и описали имущество. А они были наготове, судя по рассекреченному ФБР делу писателя.

Электрошок – ужасная пытка, но не менее ужасно состояние человека после него. Вот ощущения другого героя “Полёта над гнездом кукушки” К. Кизи – индейца по прозвищу Вождь: “Бывало, что после шока я целых две недели ходил полуобморочный, жил в этой мутной мгле, больше всего похожей на лохматую границу сна – на серый промежуток между светом и пустотой или между жизнью и смертью, когда ты знаешь, что уже очнулся, но не знаешь, какой сегодня день и кто ты, и зачем вообще возвращаться... по две недели. Если тебе не для чего просыпаться, то будешь долго и мутно плавать в этом сером промежутке...”

Таким образом, здоровенный Вождь от одного электрошока не мог прийти в себя две недели, а немощного Хемингуэя в декабре 1960 года лупили током прямо в мозг через два дня на третий, то есть *по три раза в неделю!* Каково же было его состояние?

Сам Хемингуэй говорил в январе 1961-го: “Чего эти специалисты по электрошоку не знают, так это того, что такое писатель; они не имеют ни малейшего понятия о сострадании и раскаянии. Всех психиатров надо заставить самих заняться литературным трудом, может, тогда они хоть что-то начнут понимать... Какой был смысл в том, чтобы разрушать мой мозг и стирать мою память, которая представляет собой мой капитал, и выбрасывать меня на обочину жизни? Теперь я не могу писать. Пациента лечили лучшие врачи в мире, но, к сожалению, он скончался”.

Есть основания предполагать, что одним из прототипов Рэндла Макмёрфи у Кизи и был Хемингуэй. На эту мысль наводят три обстоятельства. Свободолюбивый драчун Макмёрфи, как и писатель, знает толк в океанической рыбалке; он также попадает в сумасшедший дом и подвергается шокотерапии; а перед электрошоком уподобляет себя, пусть и в шуточной форме, Иисусу Христу:

“Ему накладывают на виски графитную мазь.

– Что это? – спрашивает он.

– Проводящая смазка, – говорит техник.

– Помазание проводящей смазкой. А терновый венец дадут?”

Хемингуэя же, дабы избежать огласки, зарегистрировали в клинике Мэйо 30 ноября 1960 года под именем его домашнего врача Вернона Лорда. Lord – это по-английски Господь. Как и Макмёрфи, писатель тоже пытался шутить по этому поводу: “Просто кошмар – лежать под фамилией “Господь” в католической больнице, и это мне, человеку, давно забывшему о католичестве!”

Да, так бывает в жизни. Автобиографический герой книги Хемингуэя “В наше время”, лёжа под артобстрелом, просил у Бога: “Иисусе, выведи меня отсюда, прошу Тебя, Иисусе... Я верю в Тебя, я всем буду говорить, что

только в Тебя одного нужно верить. Спаси, спаси меня, Иисусе". Герой выжил, но "на следующий день, вернувшись в Местре, он не сказал ни слова об Иисусе той девушке, с которой ушёл наверх в "Вилла-Роса". И никому никогда не говорил". Но о Христе невозможно забыть, если ты Его когда-либо просил о помощи, и Он тебе помог. Что-нибудь да обязательно о Нём напомним: если не Сам Господь, так какой-нибудь образ из Книги человеческих судеб. Хемингуэй, по его словам, забыл о Боге, а принял истязания электричеством в католической больнице... под именем Господь.

В июле 1961 года Хемингуэю предстояло перенести третий курс "лечения" в "Институте жизни" в Хартфорде. Если бы врачи сочли его неэффективным, то можно с большой вероятностью предположить, что писателя, как и Мак-мёрфи, ждала бы лоботомия.

Утром 2 июля 1961 года, за неделю до очередной годовщины ранения на реке Пьяве, сыгравшего такую роль в его жизни, Хемингуэй зарядил ружьё, разулся, вставил дуло себе в рот и большим пальцем ноги спустил курок.

На мой взгляд, это было не самоубийство по собственной воле, а доведение человека до самоубийства. Писатель не видел другого способа избавиться от истязаний психиатров.

Гарольд Лёб пережил Хемингуэя на 13 лет. Казалось, он одержал общую победу в поединке, первый раунд которого проиграл в 1926 году. Как только Хемингуэй ослаб духовно и телесно, он попал в руки конов и лёбов от психиатрии и был замучен ими до смерти. Жизнь, что окружала Лёба перед смертью, была скроена по лекалам его "Жизни в технократическом обществе" и не имела ничего общего с идеалами Хемингуэя.

Однако, как только Лёб умер, "победы" не стало. Он, Лёб, одержал её при жизни. А теперь – кто помнит самое его имя? Даже фото Лёба удалось найти с трудом – причём рядом с Хемингуэем. Коны и Лёбы безымянны – *имя им легион*.

Таким, как Лёб, кажется, что жизнь можно вычертить подобно схеме. А хемингуэевский Ник Адамс из рассказа "Индийский посёлок" плывёт вместе с отцом в лодке по озеру, берегов которого не видно в тумане. Это озеро и этот туман – жизнь. "В этот ранний час на озере, в лодке, возле отца, сидевшего на веслах, Ник был совершенно уверен, что никогда не умрёт".

Когда туман вокруг жизни Хемингуэя рассеялся, оказалось, что он приплыл совершенно не туда, куда направлялся. Но он описал и туман, и озеро, и лодку... Он что-то прозревал в этом тумане – хотя, кажется, так и не увидел. Что из того? Это сделали другие, а Ник Адамс всё плывёт вместе с отцом по гладкой холодной воде озера, берега которого лежат далеко, возможно, за пределами нашей жизни. В этом смысле и Ник, и Хемингуэй бессмертны.

Хотя Hemingway по-русски – это "замкнутый путь". Замкнутый путь в тумане.